



НАТАЛЬЯ ЕЛИЗАРОВА

# ПЕПЕЛ СГОРЕВШЕЙ ЗВЕЗДЫ

*Повесть*

*...К провалу вечности склоняются в надежде  
Увидеть, наконец, в мучительной тени  
Избраннических звёзд алмазные огни...*

*Стефан Малларме «Иродида».*

*...Я абсолютно уверен в том, что моя звезда  
меня вынесет невредимым из этой войны...*

*Георгий Эфрон*

*(из письма к сестре Але, 1944 г.).*

Выстрел ракетницы вспорол острую, напряжённую тишину. Тусклые при дневном свете искры растворились в лучах бледного, прогорклого солнца. Сотни глоток захлебнулись пронзительным, набирающим силу с каждым мгновением, воплем — «Урр-р-а-а-а!» В чёрных столпах дыма, стремительно взметнувшихся ввысь, заматалось клокочущее шафрановое пламя. Кисловатый запах взрывчатки ударил в ноздри. Замелькали подмётки грубых солдатских сапог, набухшие кровью гимнастёрки. Уши забили короткие, отрывистые стоны...

Оглохший от воя орудий, вцепившись побелевшими пальцами в автомат, он бежал неровными, неуклюжими скачками... Падал, вжимаясь в спрессованную от гусеничных вмятин землю, хватаясь обеими руками за серые комья с вывороченными, оголёнными корнями, поднимался, бежал, снова падал...

Воронки... кусты... вздувшийся труп лошади... неподвижные, засыпанные песком тела... Страшные, искажённые судорогой лица... Чьи-то широко распахнутые голубые глаза с прилипшими к роговице комочками глины... пробитая каска... тлеющий вещевой мешок...

Он был уверен, что не умрёт: слишком глупо и бесславно погибнуть вот так, не успев совершить ничего из того, что задумал... Не успев вообще ничего... Досадной и несправедливой была бы такая смерть... Он в неё не верил... Не верил, что будет лежать — почерневший и вспухший — на изрытой, искорёженной земле, а по лицу в запёкшейся крови будут копошиться муравьи... Не верил, что сегодняшний день — последний...

Он стал привыкать к войне, к её жестокому цинизму. Время, когда ощущал себя центром Вселенной, микрокосмом, безвозвратно прошло: когда на твоих глазах кусок железа вонзается в чью-то плоть — в то, что ещё мгновение назад было

человеком — с мыслями, чувствами, воспоминаниями, планами на будущее — ты понимаешь, что между бытием и небытием граница очень зыбкая; когда же кусок железа возникает непосредственно в тебя, начинаешь ощущать всей кожей — никакой ты не центр Вселенной, а такой же кусок мяса, как и все. Но парадоксальность войны как раз и заключается в том, что ты идёшь на бойню в том возрасте и состоянии, которые никак не подготовили тебя к умиранию.

Твоё тело — молодое, здоровое, сильное, крепкое — встречает смерть... Зачем?

Это была не первая его встреча со смертью, но тогда он предпочёл не вглядываться в неё слишком пристально, уклонился от холодных объятий... Тяжело. Преждевременно... Слишком преждевременно...

И тогда, и сейчас хотелось эпикурейской лёгкости — «смерть — не имеет к нам никакого отношения, так как, пока мы существуем, смерть ещё отсутствует; когда же она приходит, мы уже не существуем»<sup>1</sup>. Но любая философская мысль меркла перед липким отупляющим страхом, превращающим человека в насекомое.

Чтобы отвлечь себя от страха, перебирал, как чётки, прочитанные когда-то живописные изречения — и непочтительно дерзко, с нескромной дотошностью вступал с великими в спор:

«Отставшие хрипят, любуясь, как густа / Их собственная кровь, вскрывающая вены, — / Целуй, о Смерть, целуй умолкшие уста!»<sup>2</sup>... — «Ах, Малларме, дружище, как бы красиво ни описывали смерть поэты, и даже твоё гениальное перо, в ней нет ни грамма возвышенного. Её лик — уродлив. Её запах — тошнотворен. Телесное ощущение разлагающегося тела отвратительно: коснувшись гниющей плоти, ты отдёргиваешь руку.

«Все мы, какие мы ни на есть, едим и пьём, чтобы сохранить своё драгоценное существование, а между тем в существовании нет никакого, ну ни малейшего смысла...»<sup>3</sup> — «Всё верно, старина Сартр, всё верно, если б не одно «но»: в свои девятнадцать лет ты изучал философию в парижской Эколь нормаль сюперьёр, а не шагал по шестьдесят километров в сутки с вещмешком на плече, в котором одних только патронов восемь килограммов, четыре ручные гранаты (по пятьсот граммов каждая), одна противотанковая (кило двести), противогаз (килограмм), сапёрная лопатка (полтора кило), фляжка (кило триста), буханка хлеба (два килограмма), консервы (килограмм), бельё, а ещё автомат, каска и висящая через плечо, трущая шею шинель... Ты не копал до кровавых мозолей окопы, за которые тебя же ещё и отчитывали: «если натёр руки, значит, неправильно держишь лопату, сам виноват». Не падал после похода замертво от усталости и изнеможения... И потому не знаешь, что каким бы ничтожным ни казалось человеческое существование, для человека нет ничего более необходимого и важного, чем простой факт этого существования, который бесконечно значительнее и ценнее любых теорий и целей, которые предписываются жизни... И каким бы измотанным, слабым и жалким ты себя не чувствовал, ты безмерно рад оттого, что до сих пор жив. И готов на что угодно, чтобы выпросить хотя бы ещё одну отсрочку...».

«О Небо! чёрный свод, стена глухого склепа...»<sup>4</sup> — «Отличная метафора, дорогой мэтр, да только поднебесные выси в качестве крышки гроба не очень-то прельщают... Слишком часто здесь, на войне, так и выходит — и поверь мне, в этом нет ничего хорошего: наедет, к примеру, грузовик задним колесом на противотанковую мину — раздаётся взрыв такой силы, что от сидевших в кузове солдат и от самой машины только

1 Из письма Эпикура к Менекею.

2 Из стихотворения С. Малларме «Рок»

3 Из романа Ж. П. Сартра «Тошнота»

4 Из стихотворения Ш. Бодлера «Крышка»

пустое место остаётся... Даже хоронить нечего... Также и во время авиаобстрела... Нет уж, милый Бодлер, лучше бы хоть какой-никакой примитивный, но ящик. Не нужно помпезности — пусть из обычных досок — не лакированных, не крашенных... Или убитые солдаты этого не заслужили?..»

«Может быть, мы ищем в жизни именно это, только это — нестерпимую боль, чтобы стать самими собой перед тем, как умереть»<sup>1</sup> — «Слишком дорогая плата для того, чтобы обрести себя, и слишком запоздалое обретение. Нет, месье Селин, нужно уметь понять и принять самого себя отнюдь не на смертном одре, когда уже непоправимо поздно. Нужно иметь мужество взглянуть в глаза ошибкам и раскаяться в своих грехах до того, как ты успеешь их пережить».

В конце концов, прав был только Монтень: «философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти»<sup>2</sup>.

Впрочем, к смерти он себя не готовил. Рассуждать — да, рассуждал, но о физической кончине предпочитал не думать. Избегал представлять себя мёртвым, созерцать со стороны собственное тело. В этом пусть соревнуются те, кто не видел трупов своими глазами, а с него хватит, посмотрелся. Проклятая старуха с косою и так слишком часто с докучливой нескромностью напоминала о своём присутствии: он ежедневно, ежедневно видел её, чувствовал, осязал. Она не отставала ни на шаг, следовала по пятам, как собака, и в тоже время особо не спешила — всё равно никуда от неё не денешься. И, казалось, ухмылялась при виде его отчаянных попыток скрыться от её всевидящих пустых глазниц...

Примерно за час до начала боя он заметил как некоторые солдаты украдкой, пока не видит политрук, крестились. Кто-то прикладывал губами к чему-то, завернутому в тряпку, и тут же прятал её в карман, кто-то беззвучно шевелил губами... Многих из них, уходивших на фронт с комсомольским билетом в кармане, никто никогда не учил молитве. И вместе с тем, не зная, не соблюдая канонов, они мысленно обращались к Господу как к Спасителю — по-своему, как могли... Не познав библейского языка, говорили с Богом сердцем. Так в минуту крайней опасности делает всякий человек, внезапно осознавший, что мимо смерти не пройти... Перед атакой атеистов не бывает. Бой — моральный эксперимент. Он стирает границу между верой и неверием, между открытостью к Богу и мнимой самодостаточностью. Бой начинаешь анализировать тогда, когда он уже закончился, а перед атакой — молишься неумелой, прерывистой молитвой: «спаси», «защити», «сохрани», «помилуй»...

Он тоже зывал к Создателю с единственным вопросом — «Неужели ты не дашь мне ни единого шанса? Не верю, что не дашь! Не верю!..»... И был уверен, что его слышат. Точнее, надеялся на это. Если бы не было надежды, не имело бы смысла цепляться за эту жизнь. Инстинкт самосохранения — этого слишком мало для того, чтобы выжить...

В феврале ему исполнилось девятнадцать.

Через месяц вручили повестку. Как он этого избегал, как боялся, как рассчитывал на то, что война закончится без его участия! «Вот уж там я совсем не нужен, — думал он, критически оглядывая свою фигуру, — неспортивную, не приученную к физическим нагрузкам. — Какой с меня боец?»... К тому же именно сейчас, после череды случившихся трагических событий, когда казалось, мир обрушился и всё настроено против него, жизнь понемногу стала обретать какие-то стабильные контуры: началась учёба в Литературном институте, появились новые знакомые, возникли планы на будущее, обещание каких-то дальнейших перспектив... Конечно, всем сейчас не до

1 Из романа Л.Ф.Селина «Путешествие на край ночи»

2 Из книги М.Монтеня «Опыты»

литературы, но ведь война рано или поздно закончится, и снова появится спрос на хороших поэтов, переводчиков, критиков. И он сможет заняться любимым делом — творчеством... А пока...

А пока его выдернули из институтской аудитории и поставили в строй рядовым. Девятнадцать...

В его возрасте, точнее, будучи на год моложе, его мать познакомилась с отцом — красивым юношей с печальными глазами, чья фамилия напоминала ей имя Орфея... Её мятежная душа, преступившая границы, за которыми нет места живым, давно ждала своего освободителя... Увы, она слишком рано познала безоговорочную истину — без нисхождения в ад искусство невозможно... И спустилась туда с опрометчивым бесстрашием...

Медовое, утопающее в синей бездне, солнце Коктебеля... берег, усеянный галькой... Летящие за соломенными шляпками ленты... Набившийся в сандалии песок... Сердоликовая бусина — романтический подарок шаловливой Психеи — обещание вечной любви и связи на всю жизнь...

1911-й — время экзальтированных стихов и роковых встреч... Господство капризной логики грёз...

Заволокшие небо гарь и копоть... покорёженная, израненная снарядами земля... грубое шинельное сукно, ставшее для тебя и одеждой, и одеялом, и носилками... распухшая в грязных портянках нога — давнее рожистое воспаление кожи, мучительно напомнившее о себе во время долгого похода... И ни одного талисмана, который бы защитил и сделал неуязвимым...

Это уже 1944-й.

Его фамилия тоже похожа на имя Орфея... И он спускается в ад... На этот раз настоящий, не выдуманный, не книжный... Не за мифической Эвридикой — за собственной жизнью, ставшей призрачной тенью в фатальном лабиринте смерти... Малейшее неосторожное движение — и она исчезнет навсегда.

Господство непреложного закона войны.

В юности его мать наслаждалась подземными скитаниями в царстве Персефоны и Аида. Здоровая, полная сил, она с неистовой страстью призывала смерть: воображала себя с венчиком на лбу, со скрещёнными на груди руками, мысленно прогуливалась возле деревянного креста...

Его в девятнадцать призвали: сначала в трудовую армию, потом — на фронт. И он с неистовой страстью пытался выжить...

Она слишком долго «всматривалась в бездну»<sup>1</sup>... Её душа, не сумев найти обратный путь, так и заплутала в подземных чертогах, захлебнулась горечью стиковых вод...

Он надеялся, что неумолимый рок до него не доберётся.

В ночь перед боем ему не спалось, но за сутки до этого приснился сон — такой явственный и чёткий, будто пережитый наяву.

Он снова очутился в Париже — городе своего детства. Но не том, который знал и помнил — с цветущими каштанами, ароматом кофе в уютных бистро, книжными редкостями на развалах у букинистов, броскими театральными афишами... А мрачном, средневековом, поражённом чумой и гибнущем. В канавах вдоль дорог валялись зловонные, изъеденные червями трупы: никто не отваживался их убирать. Люди, объятые паническим страхом, прятались по домам. Прикрывшись рогожей, он бежал, озираясь, по узким улочкам, стучался кулаком в запертые двери и окна. Никто не отзывался, будто он был один в пустом городе. Умолял, звал на помощь, но в ответ — безмолвие...

1 Из книги Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего»

За ним медленно следовала высокая фигура в чёрном одеянии. Просторный плащ полностью скрывал очертания, на голове — капюшон. Её присутствие внушало неизъяснимый ужас... Он, споткнувшись, упал... Фигура в чёрном приближалась...

Пришло время посмотреть ей в глаза...

Он проснулся в холодном поту. Кричал, его растолкали. Недовольно зашикали: «Тише ты, оглашённый!.. Спать не даёшь людям...».

Машинально пробормотал извинения. Сердце бешено колотилось.

Его преследовало видение из сна — глаза матери... Такие, какими он видел их в последний раз — замутневшие, полуприкрытые тяжёлыми, набрякшими веками... Неживые.

Он избегал смотреть на мать, лежавшую сначала на белой простыне, на которой её так и вынесли из дома, как огромный свёрток, потом — в гробу. Смотрел вверх или в сторону, но не всматривался... Взгляда от лица отвести не успел...

— Плохо, когда открыты, — качала головой квартирная хозяйка, — надо бы медяки поискать...

Он воспротивился: «медяки» — какая отвратительная пошлость!

— Не трогайте её! — резко вскинув подбородок, выпрямился, как струна. — Я запрашаю вас к ней прикасаться!..

Она лишь плечами пожала: тоже мне, фрукт выискался!.. собачился с мамашею через день-другой, а тут аж побелел, затрясся весь... Хотя чего, собственно, такого крамольного она предложила. Дело самое, что ни на есть обычное, житейское, все так делают, когда у покойника глаза не закрываются... Мальчишка просто избалован и каши мало ел, чтоб разбираться в жизни. Драть таких надо, чтобы хвост не распускали!

Мёртвые глаза матери врезались в его память так сильно, что вытеснили воспоминание о ней живой. Он силился призвать к жизни её образ, но вспоминалось только тело — сухое, тяжёлое, окоченевшее. Чужое... Лучше уж вообще ничего не помнить, чем вспоминать её — такую.

«Это уже не я...»<sup>1</sup>, — написала она ему перед смертью. Да, это уже была не она. Все последние месяцы — не она, даже внешне другая. Будучи всегда лёгкой, воздушной, окрылённой, она, казалось, одеревенела, приросла к земле. В последнее время отчаяние довело её до полного безразличия, и она перестала следить за собой. На отрешённом лице будто застыла маска. Нездоровая бледно-восковая кожа. Жёстко очерченный двумя глубокими морщинами рот. Воспалённые веки, уставшие, погасшие глаза. Тусклые, обвисшие, местами свалывшиеся, нерасчёсанные волосы с металлической примесью седины. Опущенные, ссутулившиеся плечи. Бесформенное серое хлопковое платье, пахнущее, как мешок с бельём, доставленным в прачечную... Он ловил себя на мысли, что ему даже смотреть на неё неприятно. И обжигающее чувство неловкости оттого, что окружающие думали также как он. Они могли говорить что угодно, могли сочувствовать, советовать, сокрушаться, но думали также, он в этом ни на йоту не сомневался, и оттого стыдился её.

Впрочем, до окружающих ей, казалось ещё вчера, не было никакого дела. Чаще всего она сидела на углу кровати, закинув ногу на ногу, отрешённо смотрела прямо перед собой. Выражение её лица было отстранённым и бесстрастным. Иногда, будто опомнившись, начинала метаться: писала кому-то письма, внезапно куда-то уезжала, с кем-то встречалась, или хваталась за мелкую хозяйственную работу: скребла посуду, подметала пол — нервно, неловко — разливая воду, роняя вещи. Глядевшая на её потуги квартирная хозяйка нет-нет, да и с укоризной выговорит:

1 Из предсмертной записки М. Цветаевой сыну Георгию, 31.08.1941 г.

— Бросьте, уж лучше я сама...  
— Хотела прибрать немного...  
— Бросьте тряпку, право слово, мне не трудно... Что ж это за мытьё?.. только грязь по углам расpredелили... Всё равно перемывать придётся.

Куцые белёсые брови Анастасии Ивановны, квартирной хозяйки, были сосредоточенно сдвинуты. На лице явственно читался непроницаемый вслух приговор матери — «белоручка городская, что с неё взять... все они там, в Москве, такие, неумехи». Но она помалкивала, терпела. Не она себе жиличку выбирала: её, как и прочих эвакуированных, на постой, не спросив, поставили. Раз приставили, ничего не попишешь: нравится, не нравится — терпи. А сказать — себе дороже, ещё нарвёшься, не ровен час. Да и время сейчас такое, когда рот лучше на замке держать.

Пол, действительно, был вымыт плохо: где-то доски оставались нетронутыми, сучьями, где-то — поблёскивали целые лужи.

Мать с невесёлой улыбкой пробовала пошутить:

— Я уже, верно, совсем ни на что не гожусь...

— Я не говорила этого... — уклончиво отвечала женщина.

Теперь он понимал, что мать не задавала вопрос, а констатировала печальную истину, уточняла её для себя. Похоже, она уже тогда всё решила. А, может, раньше...

Иногда пугала мрачными изречениями. Посидит-посидит, да и выдаст:

— Цежу дни, как воду. А каждый глоток отдаёт затхлым... Совсем на доньшке осталось... воды этой...

Тогда её слова не вызывали в нём ничего, кроме раздражения.

— Может, не стоит цедить, коли цедить нечего?

В её глазах — боль, на губах — улыбка:

— Если так считаешь ты, то так оно и есть...

В последнее время она всегда с ним соглашалась, по любому поводу, и это бесило больше любых возражений. Он часто бывал с ней груб. Тогда ему подобное поведение казалось оправданным — она сама виновата в том, что они очутились в этой Богом забытой, треклятой Елабуге! Как он не хотел уезжать из Москвы, как просил её остаться! Но разве она послушала? Приволокла его сюда, бросив на московской квартире почти все их вещи, книги. А теперь, осознав, что натворила, сидит, вздыхает... Думать надо было лучше, планировать тщательней, тогда бы и сокрушаться не пришлось! А мать умудрилась так всё устроить, что приехали едва не раздетые, а уже холода скоро, денег — кот наплакал, а продуктов — крупы, сахара, — на сколько их ещё хватит, запасов этих?.. на пару недель... Если бы не спешила так, не гнала в шею его и себя, можно было бы побольше вещей уложить: сейчас бы продали и не бедствовали. Тем более у матери было, что продать: добротная заграничная одежда, столовое серебро, сахарница из богемского хрусталя, фарфоровые чайные пары... Нашлись бы, поди, покупатели на всё это добро, если не в Елабуге, так в Чистополе... Да что теперь вспоминать, сгруппила мать, конечно!..

Она, похоже, и сама так считала. Приставала к нему с бесполезными и ненужными расспросами:

— Я только всё порчу, правда?.. — глаза жалкие, просящие. — Тебе бы без меня лучше было...

— Что вам за охота всё время травить и меня, и себя!.. — вспыхивал он. — «Лучше», «хуже»!.. Кому от таких разговоров легче?.. Совершили оплошность, так исправляйте! Вы моё мнение знаете на этот счёт, я вам ещё в Москве говорил — не надо сюда ехать! Что мы выиграли, приехав в Елабугу? Работы нет! Денег нет!.. Про свою учёбу я вообще молчу! Я уже со счёта сбился, сколько раз за последнее время

мне приходилось менять школу!.. Только привыкну к одному месту — снова переезд! Снова начиная с нуля!.. Сколько можно меня дёргать?.. Сколько я могу зависеть от ваших прихотей, капризов, от вашей нерешительности, страхов, от вашего эгоизма!.. Главное, была бы хоть какая-то польза от этих перемен!.. А то меняешь всю свою жизнь на сто восемьдесят градусов, а всё в результате становится только хуже и хуже!.. В Москве хотя бы книг хороших можно было достать, концерт послушать — хоть какая-то отдушина была... А здесь что?.. Дикость кругом одна, грязь, пошлятина!.. Я здесь с ума сойду!..

— Мур, милый, Анастасия Ивановна дома... стены тонкие, слышно... — понизив голос, по-французски, проговорила мать; голос её звучал ровно, хотя несколько напряжённее обычного.

— К чёрту Анастасию Ивановну!.. — запальчиво закричал он, тем не менее перейдя на французский, и выругался.

В отличие от многих своих сверстников, он не сквернословил — был иначе воспитан. Но с недавних пор стал легко срываться на брань, что раньше считал для себя неприемлемым. Мать не одёргивала его, иногда даже усмехалась уголками губ, как будто его недостойное поведение её забавляло. Бывало, сидит, курит, слушает его и усмехается неизвестно чему — невыразительно, безрадостно. А, может, и не слушала вовсе, думая о своём. Она всё время была погружена в какие-то одной ей ведомые мысли. Подолгу сидела, застыв, как изваяние, не двигаясь, не реагируя ни на что...

Впоследствии в трудармии, сформированной большей частью из бывших уголовников, он часто вспоминал её невесёлую улыбку... Вот уж где он досыта нахлебался словесных помоев! Трудармейцы, казалось, намеренно изошрялись друг перед другом в употреблении грязных ругательств... Он относился к услышанным словам и фразам с исследовательским любопытством: таких лингвистических выкрутасов никогда прежде слышать не доводилось и вряд ли доведётся после. Русский язык по этой части был на редкость ядрёным и сочным. Даже записал некоторые особенно выразительные слова в своём дневнике, сопроводив, правда, комментарием — «а вообще это всё — вульгарность и скотство»...

Но скотством был даже не маргинальный язык, а была сама жизнь, преследующая, казалось, одну лишь цель — затоптать в нём личность. Его зачислили в строительную роту и отправили на лесозаготовки. Рабочий день длился с семи часов утра и до половины восьмого вечера, после чего разрешалось идти отдыхать. Для тех, кто не успевал выполнить суточную норму, трудовая повинность растягивалась ещё на несколько часов. Не выполнишь план заготовки — 6 кубометров леса в сутки, которые нужно свалить, распилить, а также срезать и сжечь сучья, сложить в штабеля брёвна — на следующий день получишь двойную норму... Он постоянно был в отстающих. После смены валился с ног замертво... Измождённый от постоянного недоедания, измученный тяжёлым физическим трудом, оборванный, грязный, он спал в бараке на жёстких, грубо сколоченных досках вповалку с другими доходягами, ничего не снимая с себя на ночь, плотно укутавшись, чтоб не чувствовать как заедают вши, а утром, стараясь избавиться от них, тщательно вытрясал одежду и, вновь натянув на себя, спешил на работу. Вещи, что были на нём, быстро изнашивались, многократно латанная обувь еле держалась на подмётках. Он выглядел как нищий с паперти... Ну чем, к примеру, он, сын представителей нескольких поколений русской интеллигенции, отличался от дворового пса, поджимающего хвост в промозглой подворотне? Пожалуй, ничем... Хотя его товарищи по несчастью поговаривали, что в других бригадах, командированных на расчистку дорог или рытьё каналов, было ещё хуже. Вручат тебе лом, кувалду и лопату — и, пожалуйста, пластайся. А это уже настоящая каторга: дробить и убирать камни,

выкорчёвывать корни деревьев, и копать землю, не разгибая спины, с утра до вечера. А некоторых и вовсе послали на шахту уголь добывать. Им уж совсем не повезло...

Но какой бы непосильной и изнуряющей ни была работа в строительной роте, ещё более тяжёлым являлось каждодневное унижение со стороны себе подобных. Казалось, трудности должны были сплотить людей, волей-неволей здесь оказавшихся, однако они, напротив, озлобили их, разобчили. Ему доставалось больше, чем другим. Оттого, что не похож на остальных, выглядел белой вороной на фоне серой массы в кирзачах и ватниках. Над ним посмеивались, давали издевательские прозвища, упрекали в том, что плохо справляется с нагрузками, одним словом, слабак... Особенно не церемонился с ним старшина роты, в лице которого произвол был доведён до абсолюта и стал нормой существования...

Он изо всех сил пытался убедить самого себя, что не является частью этой среды, а всего лишь созерцатель, наблюдатель. Ему выпала редкая возможность увидеть изнанку жизни, побывать, так сказать, в самой гуще народной. Надо пользоваться моментом, тем более, что это временно, ненадолго, пока идёт война. Потом все эти нелепые впечатления станут наброском какого-нибудь рассказа или статьи. Потом, когда он сможет вернуться к работе... А сейчас он делает то, что и должен делать литератор — заготовки для будущих текстов. Всё логично, всё правильно, так и должно быть. Все, побывавшие на войне, писатели так поступали — вели дневники, которые потом использовали для написания художественных произведений: Жюль Ромэн, Жорж Дюамель, Луи-Фердинанд Селин... И из русских тоже — Лев Толстой, Николай Гумилёв... Однако самообмана хватало ненадолго. Он заканчивался с обращёнными к нему с хамскими выпадами какого-нибудь урки: «Хули ты там стилем скребёшь, сучёныш!.. Задолбал со своими писульками... Вали отсюда, кому сказано... Оглох, падал?!..»...

Дневник, чтобы не отняли, приходилось прятать. Пожалуй, он был самым дорогим из всех имеющихся у него вещей. Разве что ещё томик Малларме, который, уходя из дома, прихватил с собой. Но стихи Малларме он знал наизусть, и в случае чего потеря хоть и была бы тяжёлой, но восполнимой. А потом, после войны можно и у букинистов такую же книжицу поискать, наверняка отыщется... А вот восстановить толстенную тетрадь с впечатлениями пережитого не представлялось возможным.

Однажды ему уже доводилось испытывать подобную утрату — во время эвакуации, в Ташкенте были украдены все его записи с воспоминаниями за 1942 год. А перед войной — конфискованы вместе с вещами арестованной сестры первые литературные опусы. С этими потерями он по сей день так и не смог смириться. Что ж, на этот раз, если кто-то захочет получить его дневник, так заберёт только через его труп!

К тому, чтобы вести дневник, его приучила мать. Она и сама вела, и Алё приобщила... Где бы они ни жили, чем бы ни занимались, какие бы трудности на их головы ни сваливались, всегда дневник под рукой: вот он, самый лучший собеседник и исповедник, все тайны и сомнения — ему... Мать после смерти так и обнаружили с записной книжкой — лежала в кармане фартука...

Потом, когда война закончится, надо будет отыскать все её дневники, черновики и письма. Пройтись по всем домам, квартирам и дачам родственников и знакомых, где они были брошены или оставлены на хранение, найти всё до последнего клочка бумаги. Это важно — для неё, для него, вообще. Он обязательно это сделает. Дал себе слово. А потом, когда соберёт всё воедино — напишет о ней книгу. Как о поэте и человеке. Но это потом, когда закончится война... сейчас об этом пока рано говорить... Единственное, что он сейчас может себе позволить — вести дневниковые записи. Описывать увиденное. И надёжно оберегать тетрадь, чтобы не отобрали и не пустили на



самокрутки. Народец-то собрался сволочной, живущий по законам стаи, того и гляди выкинут какой-нибудь фортель!.. Было также опасение, что на него донесут политику и тогда тетрадь просто изымут. По опыту он уже знал, что всякий, кто что-то записывал, изначально выглядел подозрительно: так вели себя, главным образом, сексоты, стукачи. Исключение — письма. Их писали все — родственникам, девушке. Это не возбранялось... Однако опасения были напрасными — на него не донесли...

Между тем нападки старшины к нему с каждым днём становились всё более свирепыми и угрожающими. Он понимал, что рано или поздно лютая агрессия этого зверя выплеснется через край, и тогда не сдобровать — как пить дать проломит череп... Как ни страшился он войны, а перевод в части действующей армии был единственным спасением от ошалевшего от власти и безнаказанности нелюдя. И он попросил перевести его на фронт. Просьбу удовлетворили... «Правильно ли я поступил?» — в тысячный раз спрашивал он самого себя. С одной стороны — напросился на верную гибель, с другой — его бы всё равно в покое не оставили, забили где-нибудь в тёмном углу, тишком, украдкой. По официальным бумагам прошло бы как несчастный случай, мол, на лесосеке деревом зашибло или ещё что. Мало ли таких историй на производстве... Так хотя бы шанс есть... Не всех же на войне убивают...

В солдатском коллективе жилось полегче, его не обижали. В сущности, все новобранцы находились в одной лодке — их послали сюда убивать и умирать. А потому вражды между ними не усматривалось. Враг был один, общий... Даже матерщина больше не резала слух. Её произносили не злобы ради, не для того, чтобы оскорбить. Так бойцы поддерживали в себе градус храбрости: считалось почему-то, что чем более груб боец, тем более бесстрашен... Не в пример лучше было и с продовольствием. Излишеств не было, но всё-таки...

Продовольствие... Ему вспомнилась прочитанная когда-то давно в мирной жизни книга об Отечественной войне 1812 года. Её автора он безуспешно силился отыскать в памяти несколько часов кряду — но так и не смог, забыл... Накануне наступления на Россию главный комиссар продовольствия французской армии докладывал Наполеону, что предыдущие два года неурожая во Франции не позволили должным образом подготовиться к нашествию на русских, а не имея нужных запасов провианта, ввязываться в войну неосмотрительно и опасно, на что император коротко и безапелляционно ответил: «Я не хочу слышать о продовольствии». Он был уверен, что на захваченных территориях армия сама себя прокормит. Вышло, однако, иначе...

Гитлер, в отличие от французского правителя, подготовился к войне основательно... Во всяком случае проблем с питанием у солдат рейха не было... Тушёнка, хлеб, масло, консервированные овощи, суп-концентрат, галеты, шоколад, кофе, сигареты... — трофейные продуктовые пайки убитых немецких солдат красноречиво говорили сами за себя. Но бывалые красноармейцы, скептически оглядев их, морщились:

— Поджал фрица наш брат!.. В самом начале войны, кажись, чего только у них припасено не было: и сыр, и сардины, и салями... И даже во фляжках у офицера коньяк попадался... А сейчас — так, для поддержки штанов...

— Значит, войне-то конец скоро... Бежит немец, драпает!..

— Пусть в нашей шкуре побудут фрицы!..

Ему по обыкновению из трофейных наборов перепали джемы, мармелад и фруктовые пасты. Другие солдаты не любили их, считали невкусными и спешили от них избавиться, поменяв на что-то стоящее — махорку или сухари, а ему нравились — в них скрывался едва уловимый забытый вкус его досоветской жизни... Сейчас казалось странным, что когда-то он жил за границей... Сен-Жиль-сюр-Ви... Сен-Жиль-Круа-де-Ви... Бельвю-Медон... Морэ-сюр-Луэн... Вандея... Ла-Фавьер... Ванв... Не мираж ли это?..

Фронтовой повар, плечистый русский мужик, которого все называли батей, кашеварил отменно. Причём, свои нехитрые блюда приготавливал из всего, что попадалось под руку. Были запасы — готовился борщ или щи по всем правилам: с поджаркой из морковки и лука, на мясной тушёнке, с картофелем. Не было — отваривался рис для каши, но вода из-под него не выливалась, а процеживалась и распределялась по солдатским кружкам, заменяя тем самым суп. То же самое совершалось с лапшой и перловкой. На таких отварах можно было продержаться день-другой, если подвоз провизии задерживался. Если случалось набрести на огород, в котором чудом сохранилась картошка, она выкапывалась и варилась прямо в ведре. А бойцы потом садились вокруг кружком и ели, кто руками, кто ложкой, кто ножом, кто сломленной веткой. Так же и с ухой...

Во время обеда повар любил пофилософствовать на близкие ему темы:

— Наша походная кухня однозначно лучше, чем у немчуры. И по весу легче, и ход мягче!.. Так и скользит, как ласточка, любо-дорого смотреть!.. А всё потому, что на резиновом ходу, во!.. А у них — колёса деревянные, сама — тяжелоша-а-я-я-я, дура!..

Солдаты, стуча ложками в котелках, одобрительно поддакивали. Повар почитался существом высшего порядка: ведь приём пищи для бойцов был не только утолением голода, это были редчайшие минуты спокойствия и отдыха. Издалека доносился гул, напоминавший раскаты грома. С каждой минутой он нарастал, усиливался. Но никто из новобранцев уже не обращал на него внимания.

— И рацион у нас получше выйдет: они на сухомятке, а у нас горячее дважды в день, супы нажористые, каша!.. А щи да каша, как известно, — радость наша, факт!..

Впрочем, если послушать батю, у него «наше», или, как он выражался, «нашенское», на поверку всегда оказывалось лучше, чем у немцев. Например, обмундирование.

— Ясен пень, что у фрица экипировка обстоятельнее: ботинки на шипах, сапоги с бахилами, да ранец со всякими приспособами — кармашками и крючками... Что наш вещмешок против него?.. Ерунда вроде... Но в бою побеждает что? Простота!.. Представьте, хлопцы, случилось попасть вам в засаду... Вы вещмешок за секунду скинули — и заняли боевую позицию. А эти пока будут свои ранцы стаскивать — их десять раз успеют хлопнуть!.. А форма ихняя — наморозили фрицы себе уже хвосты, небось!.. В наши-то зимы без шапки-ушанки, шинели и валенок вообще околеешь!.. Или взять, к примеру, нашу трёхлинейку... Хоть разрывными патронами, хоть зажигательными, хоть бронебойными стреляй... А чистить — милое дело: затвор вынул, грязь вытряхнул — и как новенькая... А что у немца — землёй забилося — и привет!.. Попробуй ты её в полевых условиях быстро разобрать — хренушки! То ли дело наша: открутил остриём штыка два винта — и готово!.. И ППШ наш всяко лучше немецкого «шмайсера»...

Словоохотливого повара слушать вроде было недосуг. Ещё куда ни шло, когда перепадала добавка. А она случалась не редко — хоть ложку, да подкинет: «Держи, сынку... Голодный боец — не боец!»... Сейчас же, пока выдалась минутка отдыха, хотелось написать письмо сестре и вернуться к своему дневнику, а то — когда ещё случится затишье... Слава богу, среди сослуживцев никого не смущала его каждодневная писанина; всем было известно о его работе в подразделении писарем. И, главное, никто не попрекал отсутствием рабоче-крестьянского происхождения... А, может, натрудив руки на лесозаготовках, коротко стриженный, обветренный и опалённый солнцем, он уже мало отличался от других солдат и потому не воспринимался ими как чистоплюй и тюфяк.

Хотя были времена, когда он слыл щёголем: всегда тщательно отглаженная белая рубашка, элегантный галстук, старательно отутюженные брюки, до блеска

начищенные ботинки... Своим обликом он так не похож был на сверстников в скромных синих рубахах, простых рабочих безрукавках, кожаных кепках, разбитых запыхавшихся башмаках. Впрочем, выделялся не только одеждой, но и манерами, умением держать себя, неуловимой аурой заграничного шика. Ни больше, ни меньше — парижанин!.. На него — уверенного в себе, рослого, статного, выглядевшего лет на пять старше своих лет, — заглядывались девушки. Это приятно льстило самолюбию, будоражило воображение... Неторопливо и обдуманно, с трезвым практицизмом он искал ту, с кем мог бы сблизиться. Уже давным-давно в отношении физической любви сам для себя решил — пора!.. И приглядывался, оценивал, выбирал... Бросаться очертя голову в омут, как это делала мать, — не в его характере. Его разум был спокоен, сердце — молчало. Не самые худшие качества для молодого человека, не желавшего совершать глупых ошибок и лишать свою жизнь блестящих перспектив, что с большой вероятностью может случиться, если дать волю эмоциям... Подходящей девушки, впрочем, так и не нашлось, отношений не случилось... Все они были недостаточно образованы, недостаточно миловидны, недостаточно очаровательны. Одним словом, в них всегда чего-то не доставало, и с отсутствием этого никак нельзя было мириться... Ему нужна была совсем другая — умная, красивая, изысканная. Но в стране Советов, таких не водилось... Как, впрочем, давно всё это было — и девушки, которые обращали на него внимание, и мечты о них... Будто в другой жизни... Теперь о них думалось гораздо реже, не до того было. Каждый день мог, начавшись, в миг оборваться — какие уж тут девушки... Вот война закончится, тогда...

Свою жизнь после войны он представлял очень хорошо. Он вернётся в Москву, закончит Литературный институт. Станет известным литературным критиком, будет писать о французской литературе, открывать её неизвестные стороны для советского читателя. И, пожалуй, переводчиком — французский язык он знает, как родной, да и в немецком стал делать успехи: кому ж ещё как не ему переводить современных европейских авторов. Может, доведётся и в Париже снова очутиться... приехать, скажем, на какой-нибудь международный научный симпозиум — учёные и литераторы разъезжают по всему миру, это обычная университетская и писательская практика... Кто знает, может и ему посчастливится когда-нибудь... Но об этом он подумает после, помечтает в своём дневнике. Сначала письмо сестре...

«Милая Аля!..»...

Он не любил писать на воинских открытках-прямоугольниках — узеньких, простецких, с изображением сурового бойца с винтовкой. Много текста на них не уместить, не разгонишься. Это скорее для тех, кто привык обходиться скухими фразами — «Получил ваше письмо. Спасибо за фотокарточку. За меня не беспокойтесь — жив, здоров. Гоним фашистских гадов. Есть ли вести от братьев? Напишите, как дома. С приветом, ваш сын»... Так писали многие солдаты — сухо, сжато, не рефлексируя, по существу. Это даже письмом не назовёшь: просто вынырнул человек из адского пекла, точно свет маяка блеснул в штормовых волнах, дал знак близким — живой, мол, не волнуйтесь — и снова во мрак... Ему же необходимо было не просто обнадёжить тех, кто ждал его возвращения в тылу — душа требовала собеседника, долгих диалогов, жарких споров, обмена мыслями, наблюдениями, мнениями о прочитанных книгах. И потому для писем ему требовалось время, возможность уединения и наличие бумаги...

«Милая Аля!..»...

Аля... Алечка... Ариадна...

В своей последней предсмертной записке мать будто выражала сомнение, что они с сестрой смогут когда-нибудь встретиться... «Передай папе и Але — если

увидишь — что любила их до последней минуты...»<sup>1</sup>... В этом зловеще-вещем — «если увидишь» — чудилось дурное предзнаменование, несмотря на то, что от природы он не был суеверным... В самом деле, удастся ли им увидаться? Их так далеко и надолго разматало по разным сторонам... Пусть хотя бы письма... С отцом вообще потеряна всякая связь... Жив ли он?.. В тюрьме?.. Сослан?.. Нет ответа... Аля хотя бы жива... И, судя по интонациям в письмах, не теряет присутствия духа, бодрa, пытается шутить, хотя её жизни, конечно, не позавидуешь. Если бы тогда, в августе, она была рядом...

Если бы отца не арестовали...

Если бы матери предложили место...

Если бы из их семьи не сделали изгоев...

Если бы они не сорвались из Москвы в Елабугу...

Если бы они остались в эмиграции...

Этих «если» очень много. Должно быть, каждое из них мысленно перебирала, держала в уме его мать в последние дни своей жизни. И каждое из них сводилось, в сущности, к одному — уже ничего нельзя изменить...

Впрочем, тогда ему казалось, что ещё не всё потеряно и положение можно исправить. Просто мать раскисла, размякла без меры, но если постарается взять себя в руки, то обязательно найдёт решение как им обоим выпутаться. Он не сомневался ни на миг: несмотря на отупляющую бытовую тряси́ну, в которой она в последние месяцы увязла и которая, как щёлоч, разъела её мозги, и беспрестанное угнетающе тревожное беспокойство за близких, изрядно подточившее её нервы и переросшее в напряжённое ожидание катастрофы, она обладала недюжинным запасом прочности. В их семействе она всегда отличалась силой характера, несгибаемой волей, непреклонной решимостью и энергией, была вынослива физически и духовно. Ей нужно только самую малость — обуздать переполнявшие её растерянность и панику, собрать волю в кулак и стать прежней... Чтобы заставить её встряхнуться и прийти в себя, он подбивал её на ратоборство. Словесные баталии всегда действовали на неё отрезвляюще, приводили в тонус и возвращали желание действовать. Однако на этот раз дело обстояло иначе. Кляча не рванула вперёд от ударов хлыста, рухнула наземь в кровавой пене...

Он, не понимая этого, продолжал её лущевать:

— Как можно жить посреди этого уродства? Какая же серость, убогость кругом!.. Стоячее болото, а не город! Затхлая дыра эта ваша Елабуга!.. Нужно хотя бы попытаться вырваться в Чистополь! В Чистополе много знакомых, все видные писатели там... Нам могут помочь... Вас же как поэта все знают!.. Отправьте телеграмму Асееву, Пастернаку, ещё кому-нибудь... Что вам стоит?.. Вам нужно только запрятать подальше вашу гордость и просто попросить людей, у которых есть влияние и связи!

— Гордость? — его слова, казалось, изумили мать. — Ты считаешь, что в моём нынешнем положении я могу себе позволить такую роскошь, как гордость?

— А чем тогда вызвана ваша пассивность? Сидите в этой грязи изо дня в день! Вас что, устраивает такая жизнь? А если нет — так делайте что-то, хотя бы какие-то усилия предпринимайте, не сидите, как истукан!.. Квартиру надо искать! Прописку выбивать!.. Через неделю занятия начнутся в школе! Я что, буду учебный год пропускать по вашей милости?.. Не можете себе найти работу, меня устройте! В колхоз — так в колхоз, бог с ним, буду в земле ковыряться! Учеником токаря — мне наплевать, пойду и токарем!.. Я уже понял, что с такой мамашей, как вы, ни на что другое рассчитывать не приходится!.. В других семьях родители хотя бы видимость какой-то заботы создают,

1 Из предсмертной записки М. Цветаевой сыну Георгию, 31.08.1941 г.

а вы думаете только о себе!.. О своих стихах!.. Зарылись в них, как страус, с головой, и ничего вокруг замечать не хотите!..

— Я уже давно не пишу стихов, — опустив глаза, тихо проговорила она.

Это было правдой — после возвращения из эмиграции на родину стихов она больше не писала. Впрочем, и родины — той, которую она знала и помнила, уже не существовало. Её встретила чужая и недобрая страна, которая как-то сразу дала ей понять — не надо твоих стихов, ни к чему здесь они, для этого другие поэты есть...

Морщины на её лбу и под глазами стали ещё более глубокими, резко очерченный нос заострился. Её глаза — некогда живые, пронизательные, спокойные, мудрые — потухли навечно. Всё лицо её, казалось, было отмечено печатью горестей и холодной тоски.

Но он не хотел замечать её страданий. Тогда он ещё не понимал, что из них двоих больше жалости заслуживает она, а не он.

— И поделом, их всё равно не печатают!

Скупая, горькая усмешка:

— Вот тут с тобой не поспоришь.

— Я не хочу с вами спорить, маман! Меня от пустых пререканий тошнит! Я пытаюсь докричаться, достучаться до вас — нельзя плыть по течению, надо действовать! Действовать! Действовать!..

— Ты думаешь, я мало хлопотала?

— Может, и не мало, но недостаточно для результата. Возможно, нужно приложить больше усилий... Нет безвыходных ситуаций, я убеждён в этом — нет! Есть только инертность и расхлябанность!

— Как на суде, только обвиняешь... А слово в мою защиту скажешь?

— Если я кого-то виню, то только себя. Из-за того, что доверился вашему решению, поддался на ваши истерики, что нужно бросить всё и бежать из Москвы! Бросили, — а дальше-то что? Сидим здесь, как крысы, в грязи, в невежестве! Во всей округе ни одного мало-мальски приличного лица — одни рыла свиные кругом! Чуть отвернёшься — цедают в спину — белогвардейское отродье!.. Мы же только приехали сюда, они же нас знать не знают... С чего вдруг такая ненависть? Что мы им плохого сделали? Даже не по себе становится, до чего злобными могут быть люди!..

— Прошу тебя, Мур, будь поосторожней.

— Куда уж больше! И так ни с кем не общаюсь... В Москве у меня друзья были, а здесь? Только что камни в спину не швыряют... Да что там говорить! Учёба в школе мечтой стала, с ума сойти можно! Хотя, собственно, зачем мне образование? Чтобы копать картошку на совхозном поле, образование иметь не нужно!..

— Они обещали платить тебе по 6 рублей в день... А если мне удастся устроиться судомойкой в столовую, то на двоих у нас с тобой в месяц 360 рублей выйдет... Протянем тогда как-нибудь... сведём концы с концами...

— Замечательно! Чудесно! 360 рублей!.. Вы знаете, почём сейчас молоко на рынке?.. А хлеб?.. А сахар?..

— Может, ещё заказы на переводы будут...

— Так чтоб они были, заказы эти, надо идти к тем, кто вам может помочь, и просить их, просить!

— Ходила. Отказали. Не могут помочь... не хотят.

— Напишите литераторам!.. В Союз писателей!..

— Писала... всем писала...

Она, действительно, писала всем, кому можно — близким и дальним. Это был отчаянный крик о помощи, на который немногие спешили отозваться. Часто не из-за

чёрствости душевной, равнодушия или нежелания помочь — из-за страха. С такой опаской и осторожностью относятся к бьющемуся в воде утопающему: одно дело бросить спасательный круг с берега и совсем другое — подплыть и вытащить — а вдруг утянет за собой?.. А ещё она писала тем, кому писать было нежелательно и рискованно — на Лубянку, наркому внутренних дел Берии, просила за арестованных мужа и дочь. Ответа не последовало. А также Сталину, умоляла помочь. Ответа не последовало.

— Надо ещё писать! Нельзя сдаваться! Нельзя опускать руки!

Когда он горячился и начинал кричать, его голос по-мальчишески ломался и срывался на фальцет. Это злило его, он старательно откашливался, пытаясь обрести твёрдые, уверенные ноты, но тщетно — голос не слушался, становился ещё тоньше и визгливее, как у девчонки.

Мать слушала его, плотно сомкнув губы; опущенные уголки её рта едва заметно подёргивались. В его лицо — хмурое и раздражённое — старалась не смотреть. Её пальцы резкими, энергичными движениями обхватывали горло, будто ей не хватало воздуха, беспокойно теребили янтарную нить, обвившую тонкую худую шею.

— Ты такой... — она долго подбирала слово, ей казалось, ни в одном словаре не было эпитета, который бы смог максимально точно охарактеризовать его личность, — такой... практичный...

— Вы таким тоном это сказали, как будто слово «практичный» синоним слова «садист».

— Не садист, но равнодушный. Это хуже.

— Да? И чем это я равнодушный? Тем, что вынужден думать за двоих — за себя и свою оторванную от жизни, неприспособленную мать?.. Вы такой всегда были — не от мира сего! Жили какими-то одной вам понятными иллюзиями, витали в своих фантазиях, не имеющих ничего общего с реальностью. От вас и раньше было немного толку, только тогда с этим хоть как-то можно было мириться, потому что время было другое, и отец находился рядом с нами, а сейчас если продолжать жить так, как это делаете вы, то просто не выживешь!..

— Может, подскажешь, как нужно жить?

— Я понимаю вашу иронию. Только это совсем не смешно!.. Приспособившись как-то нужно, пытаться устраиваться... Другие же могут устраиваться — учителями немецкого, переводчицами, стенографистками, оформителями в клуб... А вы заладили одно и то же — «судомойка», «судомойка», будто ни на что другое не способны, кроме как грязные плоскости чистить да ведра помойные выносить! Это с вашим-то знанием языков!..

— Ты же знаешь, я готова пойти на самую тяжёлую, чёрную работу.

— Может, нет необходимости в такой работе! Вы как будто специально хотите сами себя добить!.. Иногда, видит Бог, мне начинает казаться, что вы попросту сошли с ума!.. Да, так и есть! Посмотрите на себя в зеркало — вы похожи на выжившую из ума деревенскую старуху!.. Вы и ведёте себя, и рассуждаете, как старуха!.. Нелогично и не здраво!..

Она не спорила. Время, когда она шла упругой, горделивой походкой по улицам Парижа, когда поэты посвящали ей стихи, когда черты её лица хотелось запечатлеть художникам безвозвратно прошло.

— По-твоему, мне и жить не стоит? — и тут впервые за всё время их разговора она в упор взглянула на него; её холодные зелёные глаза испытывающее прожгли его насквозь.

Пауза была долгой. Слышно было, как тикают часы на стене.

— Это уж вам решать... — избегая её прозорливого взгляда, глухо буркнул он.

Она заметно побледнела, хотя внешне казалась спокойной. Не желая продолжать неприятный разговор, он вышел за дверь...

Она так часто говорила о смерти, что эта тема сделалась для него обиденной. Он привык к ней — в её стихах и письмах... О, она не просто писала о смерти, она её воспевала, любовалась ею, призывала со всей силой своего нетерпеливого страстного сердца!.. И стихи её не были заурядным любопытством смертного, желающего заглянуть за грань. Она скользила вне времени и пространства, пытаясь поймать неуловимое, незримое, ускользающее; увидеть нити пересечения прошлого и будущего; насытиться глубоким и таинственным светом запредельного туннеля, прочесть на его мерцающих стенах правдивую историю мира; ощутить всепоглощающий жар испытаний Судьбы, гармонию земли и небес; раствориться в капиллярах сердца Творца; постичь заданный жизнью смысл, меру всех вещей, грани добра и зла; стать частью плазмы Божественного и Вечного; наполниться дыханием Космоса...

*...«...Погребённая заживо под лавиною  
Дней — как каторгу избываю жизнь...»<sup>1</sup>...*

*«Всё же в час как леденеет твердь  
Я мечтаю о тебе, о смерть,  
О твоей прохладной благодати —  
Как мечтает о своей кровати  
Человек, уставший от объятий»<sup>2</sup>.*

*«...О, как я рвусь тот мир оставить,  
Где маятники душу рвут...»<sup>3</sup>...*

*«Так и буду лежать, лежать  
Восковая, да ледяная, да скорченная...»<sup>4</sup>...*

*«И не страшно нам ложе смертное,  
И не сладко нам ложе страстное...»<sup>5</sup>...*

*«А надо мною — кричать сове,  
А надо мною — шуметь траве...»<sup>6</sup>*

*«...И пусть тебя не смущает  
Мой голос из-под земли»<sup>7</sup>...*

*«О, чёрная гора,  
Затмившая весь свет!  
Пора — пора — пора  
Творцу вернуть билет...»<sup>8</sup>...*

1 Из стихотворения М. Цветаевой «Существования котловиною...»

2 Из стихотворения М. Цветаевой «Мне ль, которой ничего не надо...»

3 Из стихотворения М. Цветаевой «Минута»

4 Из стихотворения М. Цветаевой «Так и буду лежать, лежать...»

5 Из стихотворения М. Цветаевой «В небе чёрном слова начертаны...»

6 Из стихотворения М. Цветаевой «Отмыкала ларец железный...»

7 Из стихотворения М. Цветаевой «Идешь, на меня похожий...»

8 Из стихотворения М. Цветаевой «О слёзы на глазах!»

Слушая на привале очередную зачитанную политруком сводку информбюро, он вспоминал карту Советского Союза и мысленно пытался воспроизвести движение советских войск по линии фронта. Понимал: они двигались вперёд не сплошной линией, вытесняя немцев по всему фронту, а скорее прорывами то в одной, то в другой местности, расстояние между которыми нередко исчислялось сотнями километров. «Затмившая весь свет чёрная гора» медленно, но верно отступала...

«Не дождалась... Ошиблась, думая, что коричневая фашистская чума — это навсегда...» — подумалось ему о матери.

Её самоубийство оставило его оглушённым. Обрушившийся кошмар казался нереальным.

Как он не привык к суицидальным мотивам в её творчестве, как бы много стихов она не писала на эту тему, никогда не считал её одержимой смертью, тем более, способной сделать подобный выбор. Оказалось — способна. Оказалось, писала не чернилами, а кровью. Значит, вся её поэзия была всего лишь репетицией... Репетицией последнего гибельного свидания. Со смертью...

На войне намеренное лишение себя жизни встречалось не часто: насильственная смерть на поле брани была настолько обычным делом, что инициировать её не было никакого резона. Гораздо более распространённым явлением был отказ от реальных возможностей избежать гибели. Говоря иными словами, — «подставиться под пулю». Не так уж не прав был Селин, когда утверждал, что «в психике человека ещё глубже, чем жажда убивать, скрыто желание быть убитым»<sup>1</sup>... Однако как поступить тому, кому не хотелось ни убивать, ни быть убитым? И не было ни единой возможности уклониться от этого.

Все писатели и философы, которых он ценил, все прочитанные им в последнее время книги говорили о свободном выборе. И ему до поры до времени было лестно думать о себе как о человеке, держащем в руках нити собственной судьбы... Какое наивное заблуждение полагать, что «умная воля и вольный ум»<sup>2</sup> дарует силу, позволяющую возвыситься над ситуацией, стать её хозяином!.. От него ровным счётом ничего не зависело. Даже то, проживёт ли он на этом свете лишний день...

Его мать правом выбора обладала. Смерть для неё не была трагедией; она всегда воспринимала её органичной частью жизненного сценария, не менее важной, чем рождение. Её изболевшееся, надорвавшееся от длительного немого крика сердце перестало биться в тот момент, когда она сама решила, что хватит... Собственной рукой сняла с шеи любимые янтарные бусы, с которыми не расставалась... Собственной рукой на оголившейся шее затянула петлю...

«Пора снимать янтарь...»<sup>3</sup>...

Она купила его на французском блошином рынке. Он был потускневшим, как восковой нагар с оплывшей свечи. Но в её руках — ожил, заиграл внутренним огнём. Она долго любовалась медвяными, наполненными солнцем бусинами; собранные строгой нитью, они напоминали старинные монашеские чётки... «Никогда не сниму», — помнит, сказала... Сняла, а после — набросила на шею верёвку...

За сутки до боя в его части солдатам было приказано изготовить для себя медальоны из подручного материала — гильз от патронов к винтовке Мосина. После того, как в ноябре 1942 года командованием было принято решение о снятии армейских медальонов со снабжения армии, солдатам срочной службы перестали выдавать воинские идентификационные жетоны. В большинстве случаев командиры восприняли

1 Из романа Л.Ф.Селина «Путешествие на край ночи»

2 Перефразированная цитата из дневника Георгия Эфрона

3 Из стихотворения М.Цветаевой «Пора снимать янтарь...»



нововведение как должное, но некоторые возроптали — «зря, вещь нужная, не ровен час — пригодиться может...».

Схожего мнения придерживался и командир его воинского подразделения. Ещё во время финской кампании он носил на груди металлическую капсулу с бумажным вкладышем, где были указаны его координаты: фамилия, имя, отчество, группа крови, адрес... Пригодилась, когда с ранением попал в госпиталь: сам — контуженный, армейская книжка — сгорела...

Красноармейцев приказ мастерить себе медальоны не обрадовал. Существовало стойкое поверие: раз носишь при себе смертный медальон, значит, будешь убитым. «Смертник» ведь нужен только в одном случае — чтоб опознали, когда убьют... Поэтому многие для отвода глаз соорудили болванку, а потом при случае забросили её от греха подальше. Даже те, кому в своё время достались заводские, давным-давно приспособили их под мундштуки: спилил доньшко цилиндрика, выстругал из дерева вставку с тонким отверстием — и милое дело, табак не высыпается!..

В отличие от своих фронтовых товарищей, он подобного предубеждения не имел, и тоже считал, что медальон — вещь полезная. Аккуратным, старательным почерком вывел на микроскопической бумажке — «Georges Efron, 1.02.1925 г.». Местожитель-ство указывать не стал — у него всё равно не было дома. Адрес родственников тоже: мать — в могиле, сестра — в заключении, о судьбе отца вот уже несколько лет ничего неизвестно. Усмехнувшись, хотел было дописать «уроженец — Vshenori, République Tchèque», но передумал. Достаточно и этих сведений. Вытащив пулю, преспокойно высыпал порох, положил в гильзу записку, а затем заткнул отверстие перевёрнутой пулей. Мысленно пожелал себе снять ладанку собственной рукой — когда закончится война... Ранения не боялся. Медсанбат, по слухам, был где-то совсем рядом... Лишь бы не в живот... Точно прочитав его мысли, напутствовавший перед первым боем новобранцев старшина предостерег:

— И вот что, товарищи бойцы, особо не разъедаемся... Чай, кусочек хлеба — и хорошо. Всегда может быть. В живот могут ранить... По той же причине — на случай ранения, одеваем чистое бельё. Ранят — перевяжут рану чистой тканью, вместо бинта — его под рукой может и не оказаться...

— А убьют — так похоронят при параде... — насмешливо закончил фразу кто-то из солдат.

Вокруг нервно засмеялись — реплика шутника покорила.

— И то верно! — отозвался старшина.

...«И весело переходили в небытие»<sup>1</sup> — так, кажется, у матери... «Весело», да уж!..

Он плохо помнил её стихи, очень выборочно и совсем немного — скухими отрывками, единичными фразами. Не запали, не врезались в память... Однажды, когда уже после смерти матери он оказался в детском доме, его попросили вспомнить что-нибудь из её поэтического творчества и прочесть вслух. Всех — и педагогов, и воспитанников — будоражила одна только мысль о том, что перед ними сын самой Марины Цветаевой... Просьба озадачила — он не знал стихов своей знаменитой матери. Но ещё большее недоумение вызвало то, что чужие, незнакомые люди знали их наизусть. И любили. Не Бодлера, не Валери, не Малларме... Её!.. Это изумило и одновременно обнадёжило — значит, с уходом из жизни она не кончилась на самой себе, а, подхваченная поэзией, продолжала жить. Более того — превратилась в вечный символ. Но чего?.. Оказалось, любви... Да-да, именно так воспринималась её поэзия...

1 Из стихотворения М.Цветаевой «Генералам двенадцатого года»

Вот тут он не смог сдержат скептической ухмылки. Он всегда помнил — мать запирала его в своей грубоватой нежности, как в кованом сундуке. Только что замок не навешивала... Постоянно любыми способами давала ему понять, что лучшая компания для него — это она, лучший собеседник — она. Все остальные — выводились за круг. Слишком ничтожны для того, чтобы устаиваться его внимания, слишком примитивны...

Когда он был маленьким, и мать разрывалась между творчеством, кухней и детской, кто-то из пришедших в дом гостей, видя насколько трудно ей справляться с домашним хозяйством, посоветовал нанять домработницу или няню — помощь со стороны была просто необходима, и даже дал адрес какой-то барышни с хорошими рекомендациями. Это предложение было воспринято как оскорбление: «Ни за что на свете!». Её ужаснула сама мысль, что кто-то другой, кроме неё, получил бы возможность приблизиться к её обожаемому мальчику, которого она считала своим лучшим и бесценным творением. Отец лишь опустил голову — стеснённость в средствах не позволяла им содержать прислугу, а сам он был слишком далёким и отстранённым от всего бытового... Уход за ребёнком доверили его старшей сестре Але...

По мере того, как он рос и вырос, его стала тяготить бдительная опека матери, сковывающая по рукам и ногам. Она не спускала с него глаз, не оставляя одного даже на минуту. Тревожилась по малейшему, порой, самому пустяковому или надуманному поводу. Присматривала, чтобы на прогулках не убежал далеко и ненароком не заблудился, во время дождя — не промочил ноги, во время ветра — надел тёплую шапочку и не простудил уши... Не позволяла купаться — вдруг тело сведёт судорогой. Не разрешала кататься на лодке — вдруг перевернётся... Следила, чтоб на его тарелке всегда были самые большие, самые вкусные куски, чтобы он досыта и с аппетитом ел... Чтоб во время разговора его никто не вздумал перебить — все его замечания, даже когда он вторгался во взрослую беседу, казались ей чрезвычайно важными и глубокомысленными... Если начинал испытывать незначительное физическое недомогание — не дай бог, кашлянул или шмыгнул носом — тут же неслась с микстурой и пилюльками и начинала спасать... Её любовь была удушающей, похожей на болезненное наваждение. Долгие годы ему приходилось буквально продирааться, выкарабкиваться из-под стопудовой плиты чрезмерной материнской заботы. Доказывать ей, что она не может заменить ему весь мир...

Когда её не стало, он ощутил пустоту. Раньше было так много всего, с нею связанного: книги в сафьяновых переплётках... дубовый письменный стол... скрипучие пластинки... портреты в строгих рамах... бюст Наполеона... бронзовые подсвечники... крепкий кофе... наброшенный на плечи плед... запрыгивающие на колени кошки... перезвон колоколов... серебряные браслеты и кольца... чужие люди в доме... цветы в завитых локонах... трость с набалдашником из слоновой кости... аромат французских духов... декламация стихов... растрёпанные ноты... смех... оvationи... пряди волос, перевязанные лентами... пожелтевшие письма... солёные морские брызги... кулёчки с конфетами и засахаренными фруктами... тоненькие брошюры с дарственными надписями... размашистые автографы... газетные статьи... театральные программы... пёстрые афиши... карандашные наброски... чужие дома... свисающие до пола ажурные скатерти... пальмы и фикусы в кадках... расстроенное фортепьяно... прищуренные глаза сквозь стёкла пенсне... щипцы у каминной решётки... торопливые объятия в полутьме террасы... холодная телятина... ветчина с сыром... обугленные в дымящейся сковородке гренки... чёрные бархатные перчатки... гравюры Доре... споры и хлопанье дверями... надзор и обиды... прогулки по набережной... булыжные мостовые... долгие душевные разговоры... пенящееся чешское пиво... своды старинных соборов... почерневшие

мраморные надгробия... антикварные и букинистические лавки... сияющие на солнце витражи... плач виолончели... тусклый светильник с зелёной шляпокой... серое ситцевое платье, занашенное до дыр... коралловые бусы... гудение пархода... растрескавшиеся половицы... калитка, ведущая в сад... спелые гроздья рябины... тлеющие окурки в пепельнице... чашка с отбитой ручкой... трещины на блюде... запах свежих чернил... испачканные краской пальцы... распахнутые дверцы секретера... перевязанные верёвками чемоданы... жалобный вой собаки... стук паровозных колёс... заваленные снегом фонари... вязаный беретик... записные книжки... исписанные тетради... грязные пристани... бревенчатые избы... унылые, поникшие деревья в запущенных палисадниках... лохань с замоченным бельём... картофельная и луковая шелуха... синий фартук с большим карманом на груди... запах прокисшего молока и подгоревшей каши... завёрнутый в тряпку моток шерсти... сухой, едучий глаза дым табака-самосада... сдержанные всхлипывания в углу за занавеской... взгляды, полные немного укора... прилипшая к пальцам рыба чешуя... быстрый, как выстрел, поцелуй в висок...

А потом остались только вещи... И он — один на один с её вещами — этими безмолвными свидетелями её пребывания на земле... Неужели нельзя было отпустить его по-другому?..

За полчаса до смерти она нажарила ему целую сковородку рыбы — купила накануне у квартирной хозяйки, чей муж был заядлым рыбаком. Запах жареной рыбы, к которой никто так и не притронулся, ещё долго будет преследовать его. Как и нелепый возглас Анастасии Ивановны, адресованный прибежавшим из соседних домов зевакам, который надолго застыл в ушах, застрял в памяти: «Уж как покойница радела о парне, коли даже на краю могилы думала о том, чтоб голодным не остался...»... Но он, слишком хорошо зная свою мать, на протяжении всей жизни увлечённую магическим таинством загадочных лабиринтов и разного рода хитроумных ребусов, ещё долгие месяцы будет ломать голову, пытаться расшифровать её последний прощальный жест... Листать толстенные справочники по мифологии, культурологии, истории искусств и мировых религий, чуть ли не подпольно добывать непереволенные дореволюционные книги по теософии и оккультизму, стараясь угадать, что символизирует эта оставленная ему рыба... Тело, обращённое в первичное состояние?.. Душу, отправляющуюся к исходному?.. Абсолютную свободу и освобождение от бремени мирских желаний, как у индусов?.. Или жертвоприношение богу подземного царства, куда она последовала?.. Или же, несмотря на совершённый страшный грех, связь с Христом и покаяние?.. А, может, это символ молчания, вечной немоты? Знак того, что в их ожесточённых спорах поставлена точка... Если так, то последнее слово, безусловно, осталось за ней. А у него — навсегда засела кость в горле.

О рыбе он вспомнил спустя два года — накануне отправки на фронт, когда зашёл, как к старому другу, в библиотеку, чтобы напоследок надышаться её запахом, запомнить его на долгие месяцы (или годы?) разлуки. Жадно проглотил Элюара... Перечитал Андре Жида... Переписал в тетрадь стихи любимого Верлена... Огромные библиотечные залы были пустынные, безлюдны — когда воздух сотрясался от воя сирены и рокоата военных истребителей, книгочеев находилось немного... Уже на выходе встретил знакомого букиниста, спешившего в укрытие. Вместе спустились в бомбоубежище... Полистав предложенные ему книги, купил Малларме. Рассеянной рукой взял брошюру на французском, проиллюстрированную старинными готическими гравюрами. Практическое пособие по алхимии его мало интересовало, но выхваченные наугад строчки показали любопытными: «В Средневековье образ рыбы получил свою интерпретацию. В многочисленных алхимических трактатах описана чудесная рыба *stella marina*, светящаяся под водой и воспламеняющая всё, к чему прикоснётся.

Под свечением понимался огонь Святого Духа, действие божественной благодати, воспламеняющей сердца, погружённые в «море греха». Алхимики считали, что эта чудесная рыба с первых мгновений жизни распространяет негасимый, животворящий свет вокруг себя. Свет, исходящий от stella marina, следует понимать как всепрощение, милосердие и божественную любовь...». На рисунке, размещённом под текстом, были изображены рыбы в морской пучине, а под ними подпись — «Две рыбы, представляющие Душу и Дух, плавают в море, символизирующем тело»... «stella marina»... От внезапного спазма в горле запершило... Marina...прощение...

Солдаты вели себя так, будто впереди не предстояло никакого боя: смеялись, курили, писали письма, подшивали воротнички, обменивались какой-то мелочёвкой... Томительное напряжение, связанное с ожиданием неизбежного, прошло — чему быть, того не миновать...

- Маманя носки шерстяные прислала...
- А мне — табаку целый кисет!..
- Ух ты! Махнёмся?..
- Держи карман шире...

Вещами, присланными из дома, меняться было не принято; их берегли, ими дорожили — они хранили теплоту рук жены или матери, являлись единственной связующей нитью с оставленным родным углом. А вот трофейными вещами — это всегда пожалуйста, не жалко. Портсигар — на часы, трубку — на зажигалку, ложку — на табакерку, нож — на гребень, пуговицу — на карандаш, шнапс — на губную гармошку... «Махнуться не глядя» — это было любимым развлечением красноармейцев на всех фронтах...

Он в слепую удачу не верил, чужим настроением не заражался и не поддавался азарту. Но, главное, знал цену вещам. Впрочем, здесь, на передовой, вещи теряли свою былую значимость: когда человеческая жизнь обесценивалась настолько, что не стоила ломаного гроша, любой предмет, каким бы дорогим и уникальным ни был, воспринимался всего лишь как завалившаяся в кармане мелочь... Правда, один раз он и сам предложил обмен другому красноармейцу: прельстила складная бритва, найденная товарищем в окопе рядом с убитым при отступлении фрицем. Она была превосходна: совсем новенькая, в кожаном чёрном пенале, на лезвии — позолоченная гравировка — «Solingen». Взамен отдал помятую папиросу, чему визави несказанно обрадовался и даже обозвал его лопухом: на фронте выкуренная сигарета почиталась выше всех благ мира. А поскрести щетину худо-бедно и ножом можно...

Для него же бритва имело особое, если не сказать сакральное значение. Она была напоминанием о далёкой заграничной жизни и об их ещё не распавшейся семье: отец — агент советской разведки, благородная миссия которого полна патриотического порыва и рыцарского служения Родине, мать — признанная поэтесса, чьи стихи и переводы печатают ведущие эмигрантские издания, сестра — родной человек, милая и добрая хохотушка, с кем так тепло и уютно... Дружья — они тоже могли быть... Где всё это? За каким горизонтом осталось?.. Пусть в таком случае эта немецкая бритва символизирует обещание жизни будущей, обновлённой — благополучной, успешной, когда он сделает себе имя и станет знаменитым литературным критиком — Георгием Эфроном. И окружающие будут воспринимать его именно так, а не просто «сыном Марины Ивановны»...

Сразу после смерти матери он сам с собой заключил сделку: никаких воспоминаний, без них не так больно. О них он, пожалуй, мог бы сказать словами сартровского Антуана Рокантена: «Мои воспоминания — словно золотые в кошельке, подаренном

дьяволом: откроешь его, а там сухие листья»<sup>1</sup>... Лучше уж не открывать... Но как он не пытался бежать от них, его окунали в них снова и снова с иезуитской жестокостью... Чего стоили одни только соболезнования и жалостливые стенания — хороводом, по кругу, изо дня в день...

...«Бедняжечка, настрадалась...»...

...«За что ей всё это?..»...

...«Зачем же в петлю-то?..»...

...«Господи, что же она натворила!»...

...«Горе-то, горе-то какое!..»...

Помимо назойливого сочувствия, самым тяжёлым из всего, что ему тогда довелось пережить, было затаённое любопытство — окружающим непременно хотелось поговорить о том, что произошло в последний роковой день... Это походило на допрос, в котором он был попеременно то свидетелем, то обвиняемым.

«Где ты был, когда она это сделала?..»...

«Почему ты оставил её одну?..»...

«Она повесилась после разговора с тобой?..»...

«Если ты был на похоронах, то почему не запомнил, где её могила?..»...

«Много было народу на кладбище или нет? Если ты там был, то почему не помнишь?..»...

«Откуда выносили тело — из морга или из больницы?.. Как это не помнишь, может, ты там не был?..»...

«Она говорила о том, что хочет наложить на себя руки?..»...

«Она говорила о смерти?..»...

«Она говорила?..»...

Он уже не понимал, какие слова слышит от окружающих, а какие говорит сам себе. И те, и другие были одинаково мучительными, резали по живому...

Слыша всё это, ему хотелось кричать — «Да, да, да, чёрт возьми! — она постоянно говорила о смерти!.. Говорила о ней каждый день!.. И это сводило с ума не только её, но и лишало покоя его — того, кто вынужден был всё это слушать!.. И когда не говорила, всё равно продолжала о смерти думать! Каждую минуту своего существования!.. И почему вам всем непременно хочется знать, каково ей там было, в этой проклятой петле?! И где вы все были, чтобы её там не было?! Где были вы со своими мудрыми советами, участливыми вздохами и причитаниями, чтобы не дать ей оказаться там, где она оказалась?!»... Но он ничего никому не говорил. Его сковала немота.

Избегая разговоров о матери, он сторонился смотревших на него глаз, в которых явственно читалось — что ты сделал такого, из-за чего твоя мать не захотела жить? Чего ты стоишь как сын, если это произошло! Её самоубийство будто являлось публичным свидетельством того, как мало он любил свою мать. Люди вели себя так, будто он был в ответе за случившееся. Они всем своим видом давали понять: какое же ты чудовище, если твоя мать предпочла повеситься.

Не желая никому ничего доказывать, опускаться до оправданий — всё равно это не изменит ни факта её смерти, ни отношения окружающих к нему — люди привыкли считать себя экспертами в чужих несчастьях — он вступил в настоящий заговор молчания. Заговор, заключённый между ним и его матерью, единственной, кто знал правду, — против всех. Он верил, что таким образом сохраняет близость с ней, которую не имеет права осквернять разговорами с посторонними. Это был странный, но единственно возможный способ единения с ней. Всеми остальными способами он

1 Из романа Ж.П. Сартра «Тошнота»

пренебрѣг... Окружающие не понимали его, обижались, язвили за спиной, попрекали эгоизмом, высокомерием и дурными манерами, но ему до этого не было никакого дела. Единственный человек, с которым ему хотелось бы поговорить — его мать. Но её он уже не услышит. В таком случае, будет молчать и он... Если его всё-таки прижимали к стене, пытаясь выдавить какие-то признания, отвечал скупое, односложно и очень холодно, демонстрируя всем, кто пытался лезть к нему в душу, что всё это их не касается.

Хуже всего было с её коллегами по писательскому цеху, беспрестанно твердившими о том, какую потерю понесла русская литература после её трагического ухода, как они все без неё осиротели... И никому не приходило в голову, что это и его горе тоже...

Это горе было настолько подавляющим, что он не сразу его осознал. Чувство безнадежной утраты овладевало им постепенно, замораживая его личность по частям, пока он не окаменел окончательно. Тяжелее всего было то, что он не мог его выразить.

После похорон матери остался ночевать у знакомых. Ему претила сама мысль, что он может ещё раз переступить порог того дома. Однако вернуться всё же пришлось — накануне отъезда в Чистополь, чтобы забрать вещи...

Бревенчатая изба по улице Ворошилова, 10, выделенная им с матерью для проживания после эвакуации, как-то сразу ему не приглянулась — не было в ней ощущения тепла, комфорта, не хотелось задерживаться в ней надолго. А вот мать почему-то изъявила желание остаться. Вряд ли ей здесь понравилось, просто устала мыкаться по чужим углам в поисках приюта. Да ещё в последнее время её одолевали боли в ногах. Она не жаловалась, не показывала виду, но ступала с трудом, превозмогала себя... Где уж тут ходить, выбирать подходящее жильё... Да и из чего выбирать-то? Все елабужские дома как на подбор — унылые, скорбные, неудобные... Чувствовала ли она, что этот дом — станет её последним прибежищем на этом свете? Кто знает... В жизни каждого наступает пора, когда любая местность начинает рассматриваться исключительно как возможное место для конечного пристанища.

Хозяева дома отвели им в горнице небольшой шестиметровый закуток, огороженный занавеской. Стул, кровать, тумбочка, самодельная кушетка, сколоченная из грубых досок, — аскетическая спартанская простота. Впрочем, мать не роптала, хотя если бы ей вздумалось писать, то пришлось бы это делать, сидя на грубом, неудобном топчане, поджав ноги под себя, — стола не было, не вмещался; или на чемоданах, которые с трудом втиснулись в их каморку. Он ворчал, говорил, что в таких условиях не сможет учиться: негде учебники разложить, костюм повесить. Она, закусив губу, молчала, отвернувшись, глядела на улицу в маленькое окошко... Такой она и запомнилась ему — беспомощной, съёжившейся, похожей на подстреленную птицу...

Снова очутившись в том доме, он отметил про себя, что не испытывает никакого волнения, пожалуй, даже холодное безразличие, будто всё, что здесь произошло, его ни в коей мере не затрагивало и не имело к нему ни малейшего отношения. Кивком головы поздоровавшись с хозяевами, спокойно прошёл, не ища взглядом гвоздь, через сени, зажѣг свет в комнате. Невозмутимо открыл чемодан, свернул и положил в него свою куртку, упаковал лежащую под кроватью стопку книг, туалетные принадлежности. Вещи матери собирать не пришлось — саквояж стоял не разобранным, только беретик и плащ, в которых она безуспешно бродила по городу в поисках работы, висели на спинке стула... Потом заставил себя посмотреть на её постель — не тронутую, аккуратно заправленную, без единой морщинки. Покрывало, собственноручно застеленное руками матери несколько дней назад, сиротливо белело под светом лампы. Он подошёл вплотную к кровати, провёл руками по изголовью. Неожиданно чувство безысходности и тоски накрыло его, затопило до краёв; грудь сотрясли безудержные, похожие на припадок, рыдания. Припав на колени, он плакал навзрыд, как ребёнок,

выл, как раненный зверь. Содрав и скрутив покрывало, зарылся в него с головой, вцепился зубами, мял и комкал его с таким остервенением, будто именно оно являлось причиной его боли и отчаяния... Он ненавидел мать за позорное и трусовое бегство, проклинал и оскорблял последними словами. И тут же звал её, выкрикивая бессвязные и угловатые слова нежности, — такие, какие никогда не говорил ей при жизни, какие вообще не произносил вслух, умолял простить его и не бросать... После приступа он ощутил смертельную усталость и опустошение, словно разом лишился всех сил. Слезы не исцелили, облегчения не наступило. Он с горечью понял, что теперь остался совсем один.

Впрочем, как ни страдал он от одиночества, ни тяготился им, в то же время ревностно его оберегал. Его захватило чувство отчуждения от других людей — от вопросов, которые ранят, бесполезных советов, запоздалого раскаяния. И невысказанных, но таких жгучих, что ощущаешь всей кожей, обвинений.

А ещё его ежедневно — и во сне, и наяву стала преследовать картина, как он пытается спасти её. Причём, яркая, осязаемая, в мельчайших деталях, как будто всё это происходило в действительности... Он отправился на общественные работы — расчищать площадку для будущего аэродрома, но по пути почувствовал неладное и повернул назад (иногда сюжет менялся и ему виделось, что он забыл дома какую-то вещь и вернулся, чтобы её забрать)... Поднялся по ступеням крыльца, дёрнул ручку... Ему надо всего лишь открыть дверь и тогда она останется жива... Вот она, в сенях... Стоит в полный рост?.. Нет, висит!.. Он рывком поднимает перевернутый табурет, вскакивает на него... Хватает её под мышки, приподнимает, пытаясь ослабить давление петли на шею... Не получается!.. Мчится на кухню за ножом... перерезает верёвку... Она заваливается на него, но он её держит... Аккуратно опускает на пол... Снимает с шеи обрывок петли... Её тело — обмякшее, но живое, тёплое... Не всё потеряно, есть надежда!.. Делает массаж грудной клетки, искусственное дыхание... Крича во всю глотку, зовёт на помощь... На зов прибегает соседка... Спешно посылают за доктором... Её тело подрагивает в конвульсиях... Она начинает дышать...

Но чаще виделась другая картинка, в которой чуда не происходило. Он плакал, звал её, тряс за плечи, хлестал по щекам, но тщетно — она не отзывалась. А потом его насильно отрывали от тела, отталкивали, а её — уносили прочь — во мрак и холод...

Эти кошмары снились ему ещё длительное время, пока он не понял, что спасти её не было никакой возможности. Она давно, ещё до Елабуги перешла точку невозврата. Ужас матери перед этой жизнью был настолько сильным и концентрированным, что её сердце остановилось задолго до того, как наступила физическая смерть. И она это знала. Потому и сделала то, что сделала.

Спустя год после смерти матери он случайно оказался рядом с сельским православным храмом — заброшенным, пустующим. Живописные развалины притягивали взгляд. Подчиняясь внезапному порыву, решил подойти ближе... До революции на этих землях располагалась монастырская община, но церковную колокольню взорвали ещё в 20-х годах — на её месте виднелся холм из рассыпавшихся кирпичей, игуменьи и монахинь расстреляли, имущество разграбили. На бывших обительских угодьях какое-то не очень долгое время действовала сельскохозяйственная коммуна под бестолковым названием «Счастье бедняка», обеспечивающая картофелем местный спиртзавод. А потом, когда завод закрылся, артель тоже приказала долго жить — кончилось бедняцкое счастье... Внутри закопчённых, полуразрушенных стен чудом сохранились фрески — местами оббитые, фрагментарные, но вполне различаемые... Христос, погружённый в свои страдания, со скорбной отрешённостью взирал с креста; в его глазницах застыла безмолвная пустота... Наплывом из памяти — строчка:

«В певучем граде моём купола горят...»<sup>1</sup>... «Не горят, — подумал он. — Снесены, распилены, переплавлены...». Слово гитаясь ему возразить, сквозь зияющие трещины осквернённой церкви брызнул по глазам, заставил зажмуриться пролитый с высоты ослепительный солнечный свет... Запрокинув голову, он подставил лицо тянущемуся к нему навстречу ободряющему лучу, замер под его согревающим теплом... В ту ночь она ему приснилась. Впервые за долгое время сновидение не было кошмаром, после которого он вскакивал в поту. Она приветливо улыбалась, всем своим обликом давая понять — не тревожься, у меня всё хорошо... Была такой, какой он запомнил из её детства — сильной, уверенной в себе, полной энергии и воодушевления, опьянённой звучащими в голове поэтическими строчками... Ему хотелось обнять её, но пробуждение наступило слишком рано — не успел... Больше ему такие хорошие сны не снились. Видимо, даже в другом измерении есть лимит на счастливые мгновения...

Солдаты бодрили себя разговорами, травили сальные мужские анекдоты, которые обычно заканчивались взрывом хохота. Но сегодня смешные байки никому не вспоминались, а все истории были какими-то грустными...

— Миленькая такая медсестричка была... нос — в веснушках... завитушки рыжие... Смешная!.. Ботиночки — маленькие, золушкины, размер 35-й, не больше, она их ещё внутри обмотками обкрутит, чтоб не сваливались... Всё в зеркальце украдкой смотрелась... красивой хотела быть... Так её с этим зеркальцем потом и нашли: в кармашке нагрудном — в крови — осколки и рамка пустая... Снайпер, паскуда, не пощадил девчонку!.. Вода нужна была раненым... Двое бойцов поползли к реке — не вернулись... Она фляжку схватила — и к реке!.. Доползти — поползла, а назад — не смогла...

— Ладно, батя, кончай историй!.. Завтра сами там будем...

— Да ты не бойсь, прорвёмся!.. Бог — не выдаст, свинья — не съест...

«Прорвёмся!» — как часто на фронте ему приходилось слышать это слово. Его проносили залихватски весело, с бравадой, но, как правило, в одном случае — когда надежды на благоприятный исход почти не было. Сердце тоскливо жалось — неужели зацепят? О том, что могут убить, даже не помышлял — это не про него. Если бы ему угрожала какая-то опасность, наверняка бы почувствовал. Он был убеждён, что человек не может вдруг ни с того, ни с сего, без всякого предчувствия, взять и умереть. Обязательно должны быть какие-то трагические знаки, тревожные озарения. Во всех романах герои непременно ощущают свою близкую кончину. Сколько страниц этому посвящено! А литераторы... Почти каждый из них сошёл в могилу, зная накануне, что умрёт... У красноармейцев тоже были предчувствия... Давеча вспоминали одного бойца. Ему накануне снился вещий сон: будто по полю шёл и сапог потерял — а на следующий день подорвался на mine и без ноги остался... Нет, конечно же, его не убьют. Ранят разве что... Дай только бог, чтобы не сильно покалечило!..

По воздуху плыл пряный запах махорки.

— Год ещё тяжёлый 44-й — это ведь високосный! А високосный год, считай, как чёрная метка — жди беды.

— 41-й — не високосный был, так всё равно — хрен редьки не слаще. Война началась...

Да, 1941 год не был високосным. Но, безусловно, это был самый тяжёлый год в его жизни... И в жизни его матери...

После ареста мужа она пребывала в крайне подавленном состоянии — в каждом скрипе дверей, лязганье замков мерещились люди, пришедшие её арестовать. По ночам вскакивала от малейшего шороха. Не зажигая свет, прислушивалась, глядя в темноту. В комнате стояли заранее приготовленные дорожные сумки и чемоданы.

1 Из стихотворения М.Цветаевой «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!»



Книги, письма, черновики со стихами — отдельно; о них нужно было позаботиться на случай, если её уведут. Для себя — небольшой узелок с вещами, которые можно взять в камеру... Она и раньше была точно из эфира — невесомой, лёгкой, а теперь и вовсе превратилась в тень. Ходила бесшумно и осторожно. Вздрагивала от резких звуков... Никто и не думал за ней приходить, но это всё равно не успокаивало... Сначала забрали Асю, сестру, потом дочь, следом — мужа... Чего ещё ждать, как не худшего?.. Если поначалу оставалась какая-то надежда, что их арестовали по ошибке, но скоро выяснят правду, разберутся, освободят, то теперь с каждым днём она утрачивалась. Становилось очевидным — надеяться не стоит, их не отпустят...

Одной рукой придерживая на коленях винтовку, другой — зажав между пальцами «козью ножку», новобранцы с плохо скрываемым страхом слушали рассказы бывалых, представляли себя на месте героев историй:

— Лежим в окопе, а по нам танки немецкие прут. Чуть голову поднял — а там пехота, автоматчики... Пули над головой так и свистят!.. Косит наши ряды, точно косой!.. И затаиться нельзя — свои же пристрелят... Ну, а чё делать — выпрыгиваешь из окопа и бежишь... А сам — ни жив ни мёртв!..

Он видел, что её захлестнуло отчаяние, что с каждым днём оно всё больше затягивает её, подавляя, лишая воли и здравомыслия, но чем помочь — не знал. Участь отца и сестры пугала и его. Но самое страшное — неизвестность. Что теперь станет с его близкими? Какова их дальнейшая судьба? Но, главное, за какие грехи с ними так поступили? Его отец был кристально честным человеком, пожалуй, даже идеалистом. А его заслуги на благо Советского Союза — он ведь был опытным разведчиком, жизнью рисковавшим ради Родины, — разве это не в счёт? Сестра — более восторженного отношения к советской действительности видеть не доводилось. Что же они оба могли сделать такого, что оказались за решёткой?..

А он сам — сын белогвардейца и опальной белоэмигрантки — на какую будущность в этой стране, в которой все так ненавидят «бывших», мог рассчитывать? Теперь уже стало совсем очевидным, что с их семьёй здесь не считаются и навряд ли будут считаться. Они — отверженные, отщепенцы. К тому же недавно прибыли из-за границы. Это всё равно, что ходить с клеймом на лбу: здесь таких откровенно опасались и, боясь себе навредить, избегали всяческого общения с ними... Если б заранее знать, как всё сложится, лучше всего было для него с матерью остаться в Европе. Почему отец с Ариадной скрыли от них, что арестована тётка Ася, младшая сестра матери? Понятно, что вся их переписка просматривалась, и они не могли сообщить об этом прямо, но можно же было подать какой-то сигнал, что не надо торопиться с отъездом. А они только и делали, что расхваливали, какая чудесная жизнь в новой республике и звали к себе. Совсем как Тесей, который забыл сменить на корабле парус и тем самым погубил своего отца...

Впрочем, у него были претензии и к себе. В первую очередь за то, что не поверил тому, кого считал одним из своих духовных учителей в литературе — Андре Жиду, автору гениальных «Фальшивомонетчиков», зачитанных в своё время до дыр. В середине 30-х годов французский писатель совершил путешествие в СССР. Своё восхищение Советским Союзом, проводившим «беспрецедентный эксперимент», Андре Жид никогда не скрывал — он поддерживал социалистическое строительство и ждал грандиозных перемен. Однако откликом на всё увиденное в стране Советов стало сочинение, вызвавшее оторопь. Оно было прочитано им уже после отъезда отца и сестры в новую Россию и воспринято как пасквиль, гнусный навет, очернительство... Впоследствии он имел возможность на собственной шкуре прочувствовать, что всё изложенное в книге «Возвращение из СССР» — правда, и даже в более смягчённом

виде, нежели происходило в действительности... Сейчас строчки великого француза вспоминались с особенной горечью и болью: «Революционное сознание (и даже просвещение критический ум) становится неуместным, в нём уже никто не нуждается. Сейчас нужны только соглашательство, конформизм. Хотят и требуют только одобрения всему, что происходит в СССР. Пытаются добиться, чтобы это одобрение было не вынужденным, а добровольным и искренним, чтобы оно выражалось даже с энтузиазмом. И самое поразительное — этого добиваются. С другой стороны, малейший протест, малейшая критика могут навлечь худшие кары, впрочем, они тотчас же подавляются. И не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более поработано...»<sup>1</sup>... Может быть, именно поэтому отец и Аля не предприняли ничего, чтобы удержать их с матерью от рокового шага — они наивно полагали, что приглашают своих близких в самую лучшую на свете страну... А маэстро всё-таки счастливчик, ибо имел возможность не только приехать в СССР, но и вернуться из СССР...

Похоже, одна мать знала, чем закончится вся эта никчёмная затея с возвращением на Родину, но не нашла аргументов, чтобы разубедить, отговорить своих нерадивых детей и обманувшегося мужа, а они к её вещему сердцу — не прислушались... На Родину ли?.. Приехать в страну, которая тебя отторгает, где нет никаких предпосылок на дальнейшие перемены к лучшему — что может быть хуже... Если когда-нибудь ему удастся подняться на ноги, он сделает всё, чтобы вернуться во Францию. Там его дом, там его Родина... Да, сейчас она оккупирована фашистами, но рано или поздно её освободят, и тогда всё пойдёт по-прежнему: свободная жизнь в свободной стране. А здесь что? Здесь — всё чужое, не нужное. И он сам здесь никому не нужен.

Свою ненужность и тотальное одиночество он впервые наиболее остро ощутил после смерти матери. С одной стороны, было много её друзей, поклонников таланта, а с другой — это были абсолютно посторонние люди, принимавшие его у себя, исключительно благодаря чувству вины перед умершей: не сумели помочь ей, так хоть сироту приласкать... Хотя, если уж говорить откровенно, и таких находилось немного. Он принимал любую помощь, понимал — в одиночку не продержится.

Самым отвратительным из его испытаний был голод — от него подкашивались ноги, кружилась голова и тошнило. Есть хотелось настолько сильно, что эта потребность заслонила все остальные желания. Голод вытравливал любые мысли кроме тех, что связаны с насыщением: где достать пропитание? где взять денег, чтобы купить еду? — это всё, что волновало... По утрам он не спешил вставать с постели: чем скорее наступит пробуждение, тем раньше атакует голод. По вечерам не мог заснуть — сводило пустой желудок... Иногда с отвращением ловил себя на мысли, что общается в основном с теми, кто даст займы или посадит за накрытый стол. Его дружеские связи трещали под грузом невыполненных обещаний и неоплаченных долгов. Голод заставил его почувствовать себя отбросом общества. Он скатился до заискивания, до выклянчивания, до воровства... Впрочем, так ли уж это важно для того, кто поклялся выжить любой ценой...

— Эй, Эфрон!..

К нему так редко обращались здесь, что он не сразу откликнулся, думал, послышалось.

— Эфрон — так тебя, кажется?.. — прилипшая к губам сигарка вспыхнула; в следующую же секунду его обдало плотным облаком сизого дыма. — Посмотри письмо — всё

---

1 Из книги А.Жида «Возвращение из СССР»

ли ладно. Ты же писарь... А я с грамматикой не особо дружу... Невеста у меня — учительница. Хочется ей приятное сделать — письмишко без ошибок послать...

Рассеянно посмотрев на сидевшего рядом солдата, он взял из его рук замусоленный клочок бумаги и услужливо протянутый наслонявленный химический карандаш, быстро пробежал глазами, исправил ошибки. Споткнулся о неизвестное слово:

— «Моя медуночка»... Что это такое — «медуночка»?

— Медуница... цветок такой есть...

— Ясно. Вот, пожалуйста, ваше письмо...

А про себя подумал: «Ишь ты, и здесь, в этом чистилище, оказывается, есть романтики».

— Спасибо, товарищ! — отозвался боец. — Только чего ты мне «выкаешь»? Не в консерватории чай...

Он усмехнулся — точно — не в консерватории...

Народ здесь подобрался своеобразный — в основном, простые деревенские парни, реже — жители небольших провинциальных городов. Москвичей, кроме него, не было. Интересно было наблюдать за ними со стороны. При командирах солдаты робели, вели себя тише воды, ниже травы, реже — старались выслужиться, и тот, кто это делал, сразу становился не в чести у рядовых — попытки «прогнуться» не приветствовались. Но стоило начальству отвернуться — паясничали и фанфаронствовали; некоторые отваживались даже передразнивать вышестоящих. С особым воодушевлением ругали «тыловых крыс» и «окопную сволочь», терроризировавших рядовых красноармейцев излишней муштрой и бессмысленными драконовскими указивками. В разговорах на эту тему солдаты проявляли полную солидарность. Во всяком случае, защитников штабных не находилось... Он, пожалуй, мог бы поспорить со своими товарищами насчёт муштры. Наоборот ему казалось, что их слишком мало и поверхностно обучают азам военного дела, и всё как-то наскоком, набегу: краткий курс подготовки в запасном полку в подмосковном Алабино, но основное — уже по дороге к линии фронта, в пересыльных пунктах... Никакая наука не будет лишней в таком деле, тем более, что сражаться придётся с настоящими асами — солдатами и офицерами самой боееспособной армии в мире. Но его мнения никто не спрашивал, и потому он помалкивал, не высывался...

Между собой в солдатской среде отношения были ровные, дружеские. Хотя иногда некоторые особо задиристые петушились, не без этого. Спорили и хватали друг друга за грудки нешуточно, с отчаянным задором, так что разнимать приходилось. Угомонившись, братались, выкуривали «трубку мира» — одну самокрутку на двоих. При этом на глаза начальству старались не попадаться — тогда бы не поздоровилось всем, и тем, кто участвовал в сваре, и кто просто смотрел со стороны. Явной вражды, наподобие той, что доводилось видеть в трудармии, не было: завтра в бой — какие могут быть распри?..

Характеры были самые разнообразные. Одни — тихони, не то чтобы нелюдимые и замкнутые, а просто смирные, молчаливые парни, но пообвыкнув, оттаивали, с удовольствием гоготали над какой-нибудь шуткой, а спроси что-то — слова не выдавишь. Другие задирали нос и важничали, хвастали явными и мнимыми заслугами, особенно, когда речь заходила о женщинах — тут уж чего только не слушаешься! При этом мерзавцами и подлецами не были, в трудную минуту — подставляли плечо, делились последним, товарищей не закладывали, не стучали за спиной, а то, что болтуны — ну, на то язык и дан... Семейные держались особняком, погружённые в свои невесёлые мысли — о покинутом доме, детях, которые могли остаться сиротами; им, пожалуй, приходилось тяжелее всего...

Новости все без исключения красноармейцы слушали в обязательном порядке — святое дело, но не анализировали и скорее всего не особо в них вникали, считая, что «руководству виднее как надо». Про врагов, с которыми сражались, знали только то, что они враги и что их «нужно давить до последнего»... Как тут не вспомнить Андре Жида: «В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот конформизм им не в тягость, он для них естествен, они его не ощущают, и не думаю, что к этому могло бы примешиваться лицемерие... Каждое утро «Правда» им сообщает, что следует знать, о чём думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может...»<sup>1</sup>.

Может быть, поэтому все солдаты как на подбор были убеждёнными фаталистами. О чём бы ни заходила речь, неизменно вставлялись фразы — «если на роду написано» или «кому суждено» — против этой нехитрой философии любые доводы были бессильны: «если на роду написано, как ни убегай от пули — всё равно убьют», «кому суждено в воде утонуть, тот в огне не сгорит» и т.п.

Он схематично фиксировал в дневнике подмеченные черты так называемого народного характера, и отмечал про себя — насколько не похож на всех тех, кто его окружал. Будто из другого теста вылеплен.

Мать с детства внушала ему, что он особенный. Называла своим Наполеоном, говорила, что он даже внешне с ним схож. Её начавшееся в юности страстное увлечение французским императором хоть и стихло со временем и растеряло былую силу, но продолжалось на протяжении всей жизни. Где бы они ни жили, в какие города и веси ни перебирались, везде в их доме можно было наткнуться на горделивый профиль Бонапарта — в книгах, гравюрах, статуэтках. Только в Елабуге его не было. Там вообще не было ничего, кроме безнадежности. Материн остров Святой Елены... При этом, до самозабвения обожая человека, который снискал славу выдающегося полководца, она до смерти боялась войны... Когда начали бомбить Москву и во время бомбёжек её сыну приходилось дежурить по ночам на крыше вместе с другими мальчишками, сбрасывать и тушить фугасные бомбы, следить, чтобы в окнах жильцов не горел свет, она доходила до иступления, ей казалось, что он непременно погибнет. Она и в Татарию его потащила, желая спасти... Теперь о нём тревожиться некому. Теперь её особенный сын — один из многих.

Нынешние...

Стрелки, телефонисты, сапёры, командиры пулемётного расчёта, автоматчики, шофёры, радисты, командиры отделения, наводчики станкового пулемёта, санитары, заряжающие, командиры орудия батареи, помощники командира стрелкового взвода, связисты, разведчики, гранатомётчики, писари...

Бывшие...

Комбайнёры, трактористы, пекари, плотники, шорники, грузчики, столяры, мельники, пастухи, шахтёры, каменщики, электрики, механики, токари, штукатуры, монтажники, машинисты, монтеры, кузнецы, конюхи, портные, сварщики... переводчик с французского и литературный критик... Пожалуй, он всё-таки был особенным. Но в 7 стрелковой роте 3 стрелковом батальоне 437 стрелковом полку 154 стрелковой дивизии, входившей состав 6-й армии 1 Прибалтийского фронта, об этом никто не знал.

---

1 Из книги А.Жида «Возвращение из СССР»

Территория, которую приходилось освобождать от захватчиков, представляла собой болотистую местность с редкими перелесками. Ночью здесь, несмотря на июльскую жару, было прохладно — сказывалась болотная сырость. Когда солнце поднималось над горизонтом, от влажной почвы шёл густой белёсый туман. Тёплые испарения поднимали в воздух удушливые смрадные пары и целые полчища комаров...

Всё передвижение орудий и повозок проходило по гатям, строительство которых шло по ночам усиленными темпами: каждую ночь ложились несколько десятков метров бревенчатого пути, а на глубоких участках топи колея укладывалась слоями. Крепления ставились во время артиллерийской подготовки, чтобы немцы не засечь звука забивки скоб. Красноармейцы, когда выбрались, наконец, из болота на твёрдую почву, возликовали — хоть подышать в трясине не придётся, всё лучше в сухой земле...

О смерти он старался не думать, но всё равно на душе было тревожно. С каждым часом это ноющее напряжённое ожидание усиливалось. Завтра его первый бой, или, как говорят на фронте — боевое крещение. «Дай-то бог!..» — мысленно воскликнул он. Вероятно, о том же самом думал каждый солдат... Чтобы отвлечь себя от дурных мыслей, он спешно набросал в дневнике несколько скупых строчек: «Местные болота немцы считают непроходимыми и меньше всего ожидают, что именно отсюда мы собираемся нанести удар. Здешние леса являются хорошим прикрытием для партизан (к нашей части присоединились несколько из них). По топям они ходят на так называемых мокроступах, изготовленных из лозы. В них ноги в трясине не вязнут. Занятно выглядят эти мокроступы, на лыжи похожи. Для артиллерии строятся плоты и волокуши. Сегодня опять приходилось преодолевать речку вброд. Ботинки, чтобы не промочить, снял — не переносу, когда мокрые ноги, да и рожистое воспаление может возобновиться. Все встретившиеся по пути селения опустошены, деревни — выжжены. Страшно подумать, что довелось претерпеть жителям... На душе мутно: хочется, чтобы всё побыстрее закончилось. Завтрашний день во многом станет решающим, в том числе для меня». Под строчками поставил дату — «6 июля 1944 года» и название местности — «близ деревни Друйки Браславского района, Белоруссия». Захлопнув тетрадь, спрятав её в вещмешок. Следующую запись сделает уже после наступления, когда всё закончится.

...Готовясь к предстоящей атаке вместе с сотнями других солдат, он машинально выполнял приказы офицеров — чистил оружие, снаряжал магазин патронами, обтирал гранаты от заводской смазки, но мысли были совсем о другом...

Как много он всего пропустил, находясь на передовой! Как давно не слушал Стравинского, Чайковского, Штрауса, Верди, Листа... Без него прошёл 100-летний юбилей Римского-Корсакова... Интересно, что было устроено в честь композитора — воздвигнут памятник или, может быть, открыт музей? Конечно, время сейчас тяжёлое, не до культуры, но всё-таки... А книги... До чего же давно он не держал в руках хороших книг!.. Кажется, полжизни можно отдать за одну только возможность перечитать сочинения Сартра!.. Хотя бы одну «Тошноту»... Изумительный роман, кажется, написанный специально для него!.. «Завтра в Бувиле будет дождь...»...

«Завтра в Бувиле...»... А что будет завтра с его жизнью?.. И настанет ли для него «завтра» новое?.. Завтра после завтрашнего дня... Как чудовищно неграмотен этот словесный оборот! Но иначе не скажешь... Господи, когда, наконец, пройдёт грызущее чувство тревоги?! Как унижительно ощущение бессилия оттого, что ты сам себе не принадлежишь, и страха перед неизвестностью. Прав был Селин, когда писал, что «девственником можно быть не только в смысле похоти, но и по части ужаса»<sup>1</sup>. Сколько

ещё открытий о себе ему предстоит сделать здесь — на рубеже жизни и смерти... очень тонком рубеже...

Его глаза нашли командира, внимательно всматривавшегося в бинокль на противоположный берег реки. Он был собран, сосредоточен, не подавал никаких признаков беспокойства... Сердце наполнилось надеждой — может, действительно, пронесёт...

Солнце лениво поднималось над землёй, освещая тонкие обрубки берёз, покалеченных во время огневых залпов, замаскировавшихся в укрытиях бойцов. Со стороны болота тянуло терпким ароматом багульника, смешанным с запахом прелой травы. Словно предчувствуя недоброе, из камышовых зарослей с криканьем сорвались и улетели прочь дикие утки. Предрассветную тишину нарушало лишь одинокое стрекотание кузнечика...

До чего же умиротворяющей может быть эта бесчеловечная земля, впитавшая в себя столько крови и слёз, — подумалось ему. Смотришь вокруг — на плывущие неведомо куда облака, ленивое покачивание берёзовых макушек, узкую полосу тихой, неспешной реки — и невольно застываешь, плывёшь, точно во сне, безвольно и рассеянно. Наверное, такой — простой и безыскусной — землю эту любила его мать и мечтала, чтобы он тоже её полюбил. Её — такую привыкшую к страданиям и горестям людским...

Вместе с томительным ожиданием боя его охватило пронзительное ощущение бесценного времени, вырванного у смерти... И острое желание во что бы то ни стало получить отсрочку, задержаться на этом свете подольше... Его мать, казалось, знала об этом желании наперёд:

*«... Чем прогневили тебя эти серые хаты, —  
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?»<sup>1</sup>*

Чтобы принять эту землю, страдать нужно очень много... Она же примет любого — родного и пришлого — для неё своих и чужих нет... Ему хотелось думать, что чужим он не был. Иначе само его пребывание здесь, близ деревни Друйки, теряло всякий смысл. С рассветом начался бой...

Заработали автоматы, пулемёты, миномёты, исторгнув хрипящий, скрежещущий рёв из сотен железных глоток... В воздухе стоял невообразимо дикий гул. Очень скоро утро превратилось в ночь: небо стало чёрным от гари, дым от разрывов заволок весь передний край.

Он бежал, с ужасом видя сквозь дымовую завесу, как навстречу ему сплошной стеной в три ряда идут фашисты: сначала различал только силуэты, но по мере того как они подходили всё ближе и ближе, отчётливей видел вражеские лица, слышал нервную лающую речь: «Nach vorne! Schneller, schneller! Nach vorne!»... Видел, как косит автоматными очередями идущих впереди него парней. Стиснув зубы, подумал о том, до чего же глупо и нещадно гробится пехота: красноармейцы шли в полный рост, не сгибаясь, не используя прикрытий, и становились лёгкой мишенью для врага... Шли, падали, взлетали на воздух... Застыв на месте, прицеливались... Палили, не глядя, перед собой... На бегу выхватив гранату, метали в сторону врага... Убивали и гибли...

С коротким вскриком перед ним упал боец, для которого он давеча редактировал письмо. Бросившись к нему, ощутил лишь тяжесть обмякшего тела и кровь на руках: пули насквозь прошли шею. «Медуночка», — мелькнуло в голове, но уже через секунду он забыл про убитого — в небе появились немецкие бомбардировщики...

Прогревели чудовищной силы взрывы, раздался свист сотен пролетающих осколков, похожих на больших серых птиц. Земля покрылась ранами, струпьями сгоревшей, искорёженной техники и тел — распластанных, истерзанных, бьющихся в конвульсиях, обогранных кровью... Сквозь черноту тумана стали проступать стоны раненых...

1 Из стихотворения М. Цветаевой «Белое солнце и низкие, низкие тучи...»

Навстречу ему устремился свинцовый смерч. Почва под ногами задрожала. На мгновение его ослепило пламя, но тут же вслед за вспышкой воцарилась плотная, непроницаемая темнота... Его бросило на землю. Схватившись за голову, он изо всех сил стиснул зубы, стараясь заглушить вырвавшийся вопль... Сердце судорожно колотилось. В ушах стоял оглушающий звон. Ноздри забила копать... Чувствуя удушье, пополз к воронке, неловко свалившись в неё, замер, пытаясь отдышаться... Кровь заливала гимнастёрку — раскалённый кусок металла глубоко засел между лопаток. Он с хрипом тянул воздух, понимая, что это конец...

Его заметили, спешно сделали перевязку, положив на плащ-палатку, понесли... Открыв глаза, он увидел идущего впереди бойца в серой от пота и пыли форме, кусок синего неба, проступившего на краткий миг сквозь зловещее багровое зарево... и снова провалился во мрак...

Раненых разместили в грузовике, возвращавшемся с передовой после доставки боеприпасов за новой партией снарядов. Бойцы из санитарной бригады, грузившие носилки, негромко переговаривались между собой:

— Вот и навоевались пацаны...

— Ничего, доктора подремонтируют...

— Лучше бы телегу дали, чем этот «студебеккер»...

— Какая, к едрёной матери, телега! Восемь человек раненых — куда их на телегу? Тем более он всё одно порожняком идёт. Вот и подбросит ребят заодно.

— Зато немец с воздуха не лупит. Мелковата для него такая цель... А уж «студебеккер» — мишень подходящая!

— Не каркай! Проскочат...

— Сегодня эти падлы весь день нас с воздуха уютжат... А наши-то самолёты где? Шуганули бы хоть немчурку проклятую...

Когда машина подпрыгивала на кочках, боль резко отдавала, напоминала о себе. Он то терял сознание, проваливаясь в гудящую тишину, то приходил в себя. Стены грузовика двигались, раскачивались, плескались волной. Он не мог толком соорудить, где находится. Боль, раздирающая нутро, изнуряла, высасывала все силы. Пересохшее горло перехватывали удушливые спазмы... Рядом с ним кто-то негромко стонал, кто-то — невнятно, монотонно молился. Его потрескавшиеся губы зашевелились, вытолкнули беззвучное эхо:

*«Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres...»*

Спину жгло огнём и саднило. Если бы можно было отвернуть край отяжелевшей, напитавшейся кровью и пылью гимнастёрки! Но рядом не было никого, кто бы мог ему помочь. Лежавшие рядом со смертельными ранами бойцы находились в полуобморочном состоянии.

*«...Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!»...*

Голова, налившись тяжестью, раскалывалась, в висках стучало... Строчки терялись, увязали в памяти, становились лихорадочным бредом, но он упрямо силился вспомнить их, словно от этого зависела вся его жизнь... цеплялся за них, как за посох на болотной тропе...

*«...J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres*

*Le bois retentissant sur le pavé des cours...»<sup>1</sup>...*

---

1 Из стихотворения Ш.Бодлера «Осенняя песня». В переводе М.Донского:

«Мы погружаемся во тьму, в оцепененье...

О лето жаркое, недолог праздник твой!

Я с дрожью слушаю, как падают поленья

Со стуком траурным на камни мостовой...»

Силы покидали его с каждой минутой. Он чувствовал, как слабеют и холодеют пальцы рук и ног, и мысленно поклялся не сдаваться... Тем более, что до полевого медсанбата рукой подать, а на машине так вообще быстро выйдет... Осколочная рана — это ничего, он крепкий, справится, выдержит... Он верил, что самое плохое уже позади. Его наверняка переправят в тыловой госпиталь, а потом — комиссуют. И война для него наконец-то закончится...

Он верил, что всё плохое осталось позади, даже когда услышал угрожающие зазывания летевшего прямо на них истребителя и донёсшийся из кабины грузовика истошный крик водителя: «Во-о-о-здух!»...

\* \* \*

*«Я вышел из дому и пошёл по широкой белой дороге.  
Я шёл с котомкой на плечах и с палкой в руке.  
Светило солнце, пели птицы на деревьях.  
Небо было синее, солнце жёлтое, трава зелёная, дорога белая.  
Дорога белая. Путь далёкий, дорога белая, куда ведёшь ты меня?  
Я достигну забытого замка, где лежит спящая красавица,  
я достигну всего, я ничего не достигну.  
Солнце закрыто тучами, дорога серая, трава поникшая.  
Замолкли птицы, и деревья бессильно склонились к земле.  
Дорога серая, путь далёкий... Я иду обратно.  
Я иду обратно и всё более и более углубляюсь  
в область неизведанного, непознанного,  
в область неожиданного и непонятного.  
В этой области ни солнца, ни света, ни неба, ни птиц.  
Я всё глубже проваливаюсь в пустоты мрака,  
я брожу по тёмным скалам, я плаваю в подземном море,  
я задыхаюсь. И я говорю себе:  
— Иди. Путь далёк до тихой гавани,  
ибо силы нужны, и бодрость и мужество,  
чтобы понять и принять самого себя»<sup>1</sup>.*

## ЭПИЛОГ

7 июля 1944 года в книге учёта личного состава 437 стрелкового полка появилась краткая запись — «красноармеец Георгий Эфрон убит в медсанбат по ранению». О дальнейшей его судьбе ничего не известно.

До Победы оставалось менее года.

2019–2020 гг.

---

1 Г.Эфрон. Стихотворение в прозе

